

LE MESSENGER

ВЕСТНИК

РУССКОГО ХРИСТИАНСКОГО
ДВИЖЕНИЯ

121

ПАРИЖ — НЬЮ-ЙОРК — МОСКВА

№ 121

TRIMESTRIEL

II - 1977

Литература и жизнь

Ф. СВЕТОВ

РАЗДЕЛЕНИЕ...

(После «Очерков литературной жизни» А. Солженицына
«Бодался теленок с дубом»)

«У всякого народа есть родина, — написал более полувека назад Г. Федотов, — но только у нас — Россия». Красиво, — скажут нам. Слишком красиво. Сентиментально. Напыщенно. Традиционно... А кроме того, бессмысленно, ибо не поддается анализу, а ведет всего лишь к риторике, столь же пустой и хвастливой... И тем не менее, в этих словах правда, только в них истина об отношениях человека, родившегося здесь, в этой стране, которую и не понять анализом — самым современным, любыми его самоновейшими методами, а лишь сердцем, его болью и его любовью.

А потому нет смысла в полемике с теми, кому это не внятно, ибо что стоит сердечная боль и любовь рядом с гневом, ненавистью, воплем желудка, тем более, что гнев праведен, ненависть объяснима, а желудок напоминает о себе. Что ж, мы будем тратить себя, доказывая то, что принципиально недоказуемо, убеждать тех, кто не хочет убедиться, кто боится боли и страшится любви. Мы должны их только пожалеть, потому что кто ж не боится боли, а у кого можно требовать сил на любовь. Она или есть, или ее нет. А насильно мил не будешь. И вина наша в том, что у нас чаще всего недостает сил на жалость. «На погосте живучи, всех не оплачешь», — сказал Солженицын, и эту нашу печаль взвалил на свои плечи.

У всякого народа есть родина, но только у нас — Россия. И у всякого народа есть литература, но только у нас — русская литература. Это чудо. И оно необъяснимо. И, в то же время, это реальность, столь же явная каждому, даже тому, кто прежде, чем поверить, захочет вложить персты в ее кровоточащие раны. Она в невероятности судьбы каждого, кто строил ее здание, в такой

значимости этих судеб для нас, что они с детства, с первоосмысленного взгляда становятся нашей судьбой, определяют нашу жизнь, в нее входят прежде чем занять свое место на книжной полке. В осязаемости ее могил: и тех, на которых стоят кресты, и тех безвестных, в которых прах русских гениев перемешан с прахом тысяч и тысяч их единоплеменников. Она реальна, как камень соборов и бесчисленных церквей, в которых материализовалась душа народа, живых и в своих руинах — обезглавленных и взорванных. И поскольку она реальность, может быть осязаема, то ее дано понять и измерить. Не тем умом, которым не понять вырвавшуюся к Свету судьбу Гоголя, и не тем аршином, которым не измерить бездну, в которую глянул Блок. Но это тот путь, который приведет нас вплотную к Тайне, даст возможность прикоснуться к Чуду. Русская литература — это реальность русской жизни, а в иные поры она оставалась единственной ее реальностью.

Но есть еще одна ее реальность — сегодняшняя, в которую уж как поверить, коль она здесь, рядом с тобой, дышит тем же воздухом, а потому ты полагаешь, что знаешь ее. Как в нее поверить, когда она кажется такой неловкой, жалкой и беспомощной рядом с миллионными тиражами, радио и телевидением, театром и кинематографом, фейерверком дарований, оплачиваемых звонкой монетой, громом оваций и видимостью международного признания. Как в нее поверить, когда она только и тщится напомнить о том, о чем так сладко забыть, а уж заглушить тот голос в себе, пройти мимо, не заметить — куда как просто! К твоим услугам здравый смысл, трезвость, ирония и — уже жизнь катится по рельсам, семафоры зеленые — посторонитесь, дилетанты, неудачники! Кто их там знает, читает, сколько их — сотни, таких же озлобленных, с неудавшейся жизнью, ничего не умеющих...

А ведь и верно, не учесть потаенной литературы: каков тираж вышедшей в Самиздате продукции, сколько у него читателей, кто они? Нет и быть не может статистики, даже начало ее — прямой донос (или возможность его), нет критики (только дилетантские ее попытки); правда, само издание (перепечатка) некое свидетельство и показатель успеха (да еще какое!), но вот, уже сегодня, Самиздат не выдерживает конкуренции с Тамиздатом, растворяется, становится легендой...

Очень уж бегл такой разговор для понимания того, что произошло, мы проскакиваем пласты, периоды нашей литературной жизни, а и на нашей памяти иные десятилетия стоят целой жизни

предыдущих поколений, и чтоб понять то, чем стала для нас, тем не менее, эта литература, как это произошло, важно бы упомянуть и о том — первом «Новом мире», кончившемся 56-м годом, открывшем в статьях Померанцева и Щеглова, в заурядной прозе Овечкина и Тендрякова и скрепность в литературе как непереносимое свидетельство ее подлинности; и кипение либеральных страстей и иллюзий в поэтической трескотне и гитарных переборах, и оголтело-обличительный пафос во имя залатывания прорех и устранения недочетов, от которого так сладко кружилась голова, уже в пору следующего — Большого «Нового мира», с его чуть ли не подвижничеством, стоянием насмерть за каждую журнальную книжку и за каждую страницу в той голубенькой книжке... А ведь еще как-то существовала в то время только-только начавшая разморазиваться литература предыдущая — гордость наша, букет дарований, лукавившая с самой собой, имитируя искренность, хотя чистенькая приспособляемость мстила творческим бессилием, свидетельствуя в лучшем случае о подлинности растрченного таланта. Но стоила ли чего-то та подлинность, коль книги, съеденные ложью уже в замысле, так и рождались мертвыми, каменья в прославляемом жалком паноптикуме?.. И уже подвиг «Нового мира» вырос, история делалась на наших глазах, нашими же руками... Во взбаламученном море мелких житейских дрызг, мутно-художественных и явно политических страстей, посреди корыстолюбия, примелькавшейся безвкусицы и жалкой либеральной болтовни, на всех парусах шел такой величавый корабль, палубная команда на нем подобралась отважная — один к одному, и капитан так прочно стоял на скрипучем, шатком мостике. Где уж в том визге откровенно-завистливой злобы и улюлюкания, только надувавшем паруса, в ключья рвущем флаг, разобрать было его цвета да и понять всю неосновательность оснастки...

Они проглядывали вдруг в программных статьях журнала, они били в нос тем, кто оказывался вхож в редакционные кабинеты, но была ж и реальность, и стояние насмерть — да и было ли что-то еще, другое — стоящее, настоящее (проза ли, стихи), появилось ли оно где-то, разве хоть что-то прошло мимо, не спасшись на том корабле, под тем флагом, не проглоченное взбаламученным, злобным, визгливо обнажавшим свое желтенькое дно морем? Ничего не прошло мимо, ничего другого не спаслось. Да и не было больше ничего.

А потому появление «Ивана Денисовича» на том корабле было воспринято только высшим достижением «Нового мира» — естественным, логичным завершением всего предшествующего пути: сложного, многослойного, но так счастливо материализовавшегося в этой гениальной балладе. Тогда, в пору удивительного взлета журнала, где было понять, что высшее достижение, завершавшее целый период нашей литературной жизни, открывшее новый, было одновременно и концом журнала, что уровень правды (по словам Твардовского), заданный повестью об одном дне крестьянина и солдата — ээка Ц-854, и был обретенным вновь уровнем русской литературы, вышедшей впервые за многие годы из-под льда, где она существовала, жила, развивалась, казалось бы, вопреки всякой очевидности — никогда не прерываясь и не переставая. Выплеснулась на поверхность... Но были ли силы удержать тот уровень? Много проще, погуляв на том фестивале, сделать вид, что никакого нового уровня, вроде, и нет.

Путь был только один: укрепившись на уже достигнутом (а Солженицын тут же предложил романы, делавшие тот уровень несомненным), двинуться дальше — а кремнистая дорога сразу же стала так ясна под звездами — не ошибешься!

Да, этот взлет, открывший дорогу русской литературе, был одновременно концом журнала — за десять лет до официального его закрытия, потому что рядом со сказанной уже правдой много ли значило ежедневное противостояние «Октябрю», главлиту или чиновникам из СП или ЦК.

Но мог ли «Новый мир» двигаться дальше или хотя бы остаться на уже достигнутом уровне (а это значило укреплять и раскрывать сказанное, пытаясь восстановить утерянную связь с русской культурой), не зачеркивая тем самым своего существования, лишая себя возможности в перспективе получить уж наверно грезвившуюся возможность официального признания?..

Я пишу здесь и о себе, и о своем пути, а потому, думаю, есть у меня право про это говорить.

Речь о совсем другом выборе, стоящем всегда перед литературой, обнажившемся в те годы, отнюдь не о смелости обличения и залатывании прорех и недочетов — о приобщении к истинной высоте духовного подвига русской литературы, о причащении трагедией, открывающейся нам сегодня в творениях Пушкина, в разрывающей душу духовной драме Лермонтова, в звенящей высоте подвига Гоголя, в борении духа Достоевского и катастрофе Толсто-

го — об отношении человека с Богом, о стремлении художника — вечного ученика — постичь жизнь души в ее истинном страдании («Я не знаю выше подвига, как подать руку изнемогшему духом», — сказал Гоголь в «Авторской исповеди»); речь о русской литературе, впитавшей в себя весь колоссальный опыт русской жизни, выплеснувшейся в начале века в пророческом отчаянии и апокалиптике Блока и Розанова...

Можно ли хоть что-то поставить рядом с такой высотой в мышинной возне нашей искалеченной литературы последних десятилетий с ее жалким крикливым пафосом и лакейской драмой самоутверждения, с ее ничтожной системой иллюзий, намеков и компромиссов? Странные диалектические качели раскачивали наш самый смелый и прогрессивный журнал, то осуждавший в своих программных статьях «абстрактный морализм», «нравственный максимализм», усмехающийся над «благородным мыслителем», отсиживающимся в «чистой обители», то гордящийся своим участием в «грязной действительности», оправдываясь всякий раз «тактическими соображениями» и «крайними обстоятельствами», примеряющий мундиры «Отечественных записок» и «Современника», для того, чтобы укрепить высокой «традицией» собственную тактику принципиального компромисса*. Несомненно, трудно приходилось «НМ», но су-

* В. Лакшин писал в одной из своих, достаточно программных для «НМ», статей: «Некрасов кормит цензоров роскошными обедами у Дюссо, с одним из них охотится, играет в карты с другим. Щедрин удерживает своих сотрудников от неосторожных выходов и даже сам берет на себя отчасти обязанности цензора — редактирует журнал «не только с точки зрения идейно-художественной, но и цензурной». Случается, издатели «Отечественных записок» идут и на более прискорбные компромиссы. «Наблюдающий» за журналом Ф. Толстой регулярно рекомендует Некрасову романы и повести своих светских знакомых, и они — увы! — находят себе иной раз место на страницах лучшего русского журнала. Нельзя не пожалеть обо всем этом. Странно было бы хвалить за это Салтыкова и Некрасова, — такие поступки не вызывают сочувствия потомства, даже если они оправданы тактическими соображениями и совершаются в крайних обстоятельствах. Но брезгливо осудить их можно, лишь если взглянуть на них отчужденно, со стороны, вставши на точку зрения абстрактного морализма, гордого своим неучастием в «грязной» действительности. Быть может, им надо было быть все же чуть менее «гибкими», чуть более непреклонными? Но кто посмеет сейчас решить это за них? Для этого надо было по меньшей мере жить в одно время с ними. Главное, что они трезво и сурово смотрели на себя, без самообольщения оценивали свою деятельность, но знали, чего они хотят, на что надеются, и верили в будущее. Оттого за бегом времени,

ществует предел, за которым «тактика» становится уже другой позицией. К тому же, одно дело, когда речь идет действительно о литературной **борьбе**, о х о д е, выбираемом в ее пылу и азарте, о том, что потом будет мучить и ощущаться как постыдная слабость, отступничество и причина конечного поражения. Но так академически бесстрастно п л а н и р о в а т ь право на компромисс, но вертеться перед зеркалом в чужом мундире, не задавшись вопросом — уж коль ты так трезв и живешь в «грязной действительности» — к чему приводят эти компромиссы? Стоят ли хоть что-то журнальные номера, если страницы их захватаны жирными пятнами соусов от Дюссо?

Да, всякое чисто нравственное требование предполагает нравственное совершенство или, по крайней мере, к нему стремление. Всякое в этом ограничение, п р и н ц и п и а л ь н о е допущение противоречит природе нравственной заповеди, подрывает ее достоинство и значение: «кто отказывается в принципе от безусловного идеала, тот отказывается от самой нравственности, покидает нравственную почву», — писал Вл. Соловьев. Надо было быть нравственно глухим или не хотеть слышать, чтоб не знать этой элементарной нравственной азбуки. Или голова кружилась перед зеркалом в чужом мундире, и все, что писалось, на самом деле было лишь холодной игрой ума, к обстоятельствам жизни — внешними ли, внутренним — отношения не имевшей?*

уже из следующего столетия, все растут и очищаются в своем значении яркие и сильные, лишённые всякой двусмысленности фигуры этих людей, хлопотавших не о своем успехе, рыцарски любивших литературу, отдавших себя служению родному народу. Их не надо извинять условиями, говорить об «эпохе», искажившей характер их деятельности. Если такие оправдания не годятся для Сенковского, то для Некрасова и Щедрина они просто унижительны («НМ», 1967, № 8, стр. 238).

* «Да, революция — жестокая вещь и революционеру приходится идти через кровь. Но где та черта, через которую нельзя переступить, не замарав саму идею высокого дела?» — риторически спрашивал В. Лакшин в статье, опубликованной «НМ» через месяц после вступления танков в Прагу (1968, № 9), рассуждая о декабристах («Исторические заслуги» и «объективные слабости» Пестеля), народовольцах («Чистая совесть» и индивидуальный террор), комиссарах-большевиках («тесная группа, живописная как на старых дагерротипах», единогласно голосующая за **красный террор** — «удивительные люди», «ничто человеческое им не чуждо», «личная нравственность была слита для них с революционным долгом» и т. п.). «Где та черта?» — все еще спрашивал в 1968 году ведущий критик самого прогрессивного журнала, за шесть лет до того напечатавшего «Один день Ивана Денисовича»?!

Опыт создания безбожной литературы на русской почве, обреченный неудаче уже в замысле, проявился особенно жалко в наше время, в годы, быть может, и искренней попытки вырваться из этого замкнутого круга: в пустом, не согретом ни единым подлинным чувством пространстве, истошали себя даже незаурядные дарования; выдуманная литература, по-прежнему, не желала знать истинных целей, всегда стоящих перед культурой.

Но все это сформулировалось позже, а к моменту появления «Ивана Денисовича» едва брезжило, только смущая, чуть портило праздник, ощущение радости от несомненного взлета литературы. Да, «Иван Денисович» вывел нашу литературу на перекресток, на котором ей предстояло определиться теперь окончательно, поставил ее перед выбором.

Появившиеся в Париже и тут же оказавшиеся у нас «Очерки литературной жизни» — «Бодался теленок с дубом», словно бы посвященные все го л и ш ь литературной судьбе автора, и осветили сегодня ярким светом тот п е р е к р е с т о к, две дороги литературы, два ее пути, встретившиеся на нем. И как в свете прожекторов, бьющих наперекрест с дальних угловых вышек, когда под фонарями зоны и внутренними фонарями, засветлявшими звезды, мгlistым морозным утром перед разводом потянули Шухова из надышанного барака, так и здесь, на этом перекрестке в белом слепящем свете, так ясно стали видны обе эти дороги, со всем, что есть, было и предстоит тем, кто их изберет.

2

Что это — мемуары, записи в дневнике, публицистика, литературная биография?.. Конечно, этот ряд не исчерпывает приходящих в голову определений, можно подставить иные — и все будет справедливо, а в этом ли дело?

«Есть такая, немалая в т о р и ч н а я литература, — оговаривается Солженицын в авторском вступлении, — литература о литературе; литература вокруг литературы; литература, рожденная литературой (если б не было подобной перед тем, так и эта б не родилась). Сам я, по профессии, такую почитать люблю, но ставлю значительно ниже литературы первичной...» С а м написал — смело для авторского предисловия. А где-то в середине книги снова «проговаривается»: «Тем и странна эта вещь, что для всякой другой создаешь архитектурный план, и ненаписанную видишь уже в

целом и каждой частью стараешься служить целому. Э т а же вещь подобна нагромождению пристроек, ничего не известно о следующей — как велика будет и куда пойдет. Во всякую минуту книга столь же кончена, сколь и не кончена, можно кинуть ее, можно продолжать, пока жизнь идет, или пока теленок шею свернет о дуб, или пока дуб затрещит и свалится...»

Что тут гадать о жанре и зачем: перед нами дневниковые записи, автор, в выдавшуюся ему свободную минуту, для р а з в л е ч е н и я , чтоб не позабыть — авось пригодится, фиксирует прожитое, передуманное, случившееся. Ну, а коль живет он в литературе, человек он активный и жизнь литературы у нас, а стало быть, и существование литератора, куда как затейливое — вот и получилось интересно: «Очерки литературной жизни»!

Но это, ежели идти тут за автором, даже не поддавшись его лукавству (или скромности), просто за тем, как он свою работу понимает, да еще в процессе ее. Но книга вышла — зачем нам то, что про нее автор думает, она уже не его — наша, да и писано для нас.

И вот, если мы про то, о чем нас автор предупреждал, оговариваясь, позабудем, и прочтем книгу от корки до корки, от авторского вступления — «Оговорки» до последнего «приложения», а то что прочтем ее мы без отрыва, про все свои дела позабыв, и уж неважно, сочувствуем ли автору, радуемся ли вместе с ним, вместе с ним мгновенно впадаем в отчаяние, ощутим ли одновременно звенящую силу или тупое бессилие от невозможности пробить и доказать то, что не пробьешь и не докажешь; или же будем следить за этим полуторадесятилетием жизни с брезгливой злостью и раздражением, — но что прочтем захлеб, да не как детектив, а как то, что нельзя оставить и что-то еще делать, не перевернув последнюю страницу (да ведь и кому ту книгу удастся подержать подольше — на ночь дают, хорошо, когда на две, а там — очередь, и у каждого право, каждому необходимо!) — это только такое тут ч т е н и е — сомнений нет; коль посчастливится эту книгу прочесть, мы и увидим, что «странная эта вещь», создаваемая, разумеется, «без архитектурного плана», с никак не предполагаемым финалом, с «нагромождением пристроек», о размерах которых где автору было догадаться, — что вещь эта, тем не менее, композиционно, сюжетно поразительно стройна, что все случайное здесь к делу, а без него не обойтись, написана на едином дыхании, будто спустя годы и годы, когда все переоценено и отложилось, где-то вдалеке

родился замысел, завязался сюжет, отсеялось действительно случайное, в угоду замыслу кое-что сдвинулось, иначе сгруппировалось, а то и придумалось... Чем не жанр т а к и е очерки литературной жизни, когда пришла пора подводить итоги, а автор, к тому же, что-то значит в литературе?

Да, перед нами опыт уникальный, единственный, судьба невероятная. Но эта книга не просто зафиксировала уникальность и единственность, в своем роде невероятность писательской судьбы, но благодаря о д н о в р е м е н н о с т и ее рождения и самой жизни, судьба автора и стала живой историей литературы, обретшей в этой книге плоть и кровь, напомнила читателю о том, что есть, существует, живет р у с с к а я л и т е р а т у р а , она не миф, не история, не нечто, что обнаружить можно только в музее — вот она! — и нам дано не только прикоснуться к ней, но, раньше всего, определиться в собственном выборе. И дороги, как в каждом истинном выборе, у нас две, и перекресток обозначен, и что нас ждет на той и на другой — несомненно. Чего делать вид, что мы обречены, что некуда деться: «зажимают», «не печатают», «губят дарования» — вот он путь, сверкает под звездами. И нет условий, обстоятельств и ситуаций, на которые так привычно-удобно сослаться: «Хорошо было Достоевскому — все напечатал» (куда легче — и про «Мертвый дом» позабыл!), легко т а м (делов-то, поезжай, коль сил нет да духу мало!). И т. д. и т. п. — чего перечислять все ходы отточенной в своей увертливости интеллигентской мысли.

Но, прожив вместе с автором за одну ночь полтора десятилетия его жизни (а мне она особенно близка: и я ходил теми же улицами, был вхож в те же редакционные кабинеты и встречался с ним на страницах того журнала, да все топтался на перекрестке, когда он двинулся уже своей дорогой), закрыв книгу, я и понял: что б он там ни говорил, как бы ни «оговаривался» — это не литературные очерки, не дневник и не мемуары (хотя, разумеется, то, другое и третье). Для меня это — р о м а н со своей ясной художественной и философской концепцией во времени и истории, композиционно выстроенный и сюжетно заверченный, с напряженнейшим, не только внешним, но и внутренним сюжетом, противопоставлением двух характеров, выписанных поразительно крупно (хотя в совершенно разной стилистической манере), в конечном счете и определяющих р о м а н н у ю форму, ее сюжет и композицию — два столба, подпирающих все здание произведения, создающих

в своем противостоянии художественную гармонию, ибо их любовь, их тяготение друг к другу, их взаимное отталкивание и непонимание — и определяют ту напряженность, драматизм, трагичность никак не сочиненную, в ней нет и не может быть случайностей, которые могли бы быть предотвращены, а есть только случай, который нужно суметь понять или оказаться на это неспособным. Есть «шифр», открыв который, человек постигает Замысел о себе. А потому в их судьбе все чуть ли не предопределено (при полноте даденной человеку свободы), и расшифровка шифра одним, и неспособность постичь его другим открывают трагедию человека в шекспировском, пушкинском (никак не меньше!) ее понимании.

Сюжет романа и начинается встечей двух его героев...

Едва ли следует сразу же вползать в полемику с автором, хотя одну мысль надо бы уточнить. Он утверждает, что тогда, в 60-м году, не имел «отличительного суждения» о «Новом мире»: «потому, чем наполнены были его главные страницы, он для меня мало отличался от остальных журналов. Те контрасты, которые между собой усматривали журналы, были для меня ничтожны, а тем более для дальней исторической точки зрения — спереди ли, сзади. Все эти журналы пользовались одной и той же главной терминологией, одной и той же божбой, одними и теми же заклинаниями — и всего этого я даже ложкой чайной не мог принять». Как не понять тут автора «Ивана Денисовича»: было ли какое-то там отличие — и даже чайной ложкой! — для него — «дремучего зэка», шептавшего, заучивавшего тысячи строк своих стихов, а потом прозы, наизусть под фонарями зоны, в бушлате с собачьим номером, и потом годы вечно ссылки не доверявшего никому, прятывшего эти свои бумажонки и после реабилитации, — мог ли он отличать журналы и их авторов, печатавших их и получавших за это гонорар, жуировавших тем временем жизнью?! Да «Иван Денисович» оказался в «Новом мире» случайно — тюремный друг автора взялся передать рукопись, а он как-то приятельствовал с сотрудниками, редакторами журнала. Случайность?.. Но разве еще на фронте Солженицын не понял «Василия Теркина» «удивительной удачей», «вещью вневременной, мужественной и неогрязненной — по редкому личному чувству меры, а может быть и по более общей крестьянской деликатности», не увидел, что автор этой поэмы, не имея, разумеется, свободы сказать полную правду о войне, «останавливался однако перед всякой ложью на последнем миллиметре, нигде этого миллиметра не преступая, нигде! — оттого и вышло чудо»? А по-

тому, разве даже в той подпольности, затаенности, ко всему и ко всем недоверчивости, не почувствовал ли Солженицын «первого толчка»: а не показать ли чего-нибудь Твардовскому — «не решиться ли?» И разве случайной была та несомненная удача (взрыв нашей литературы «Иван Денисовичем») — если б нелепый, неосмысленный случай поворотил автора на Пушкинской площади не вправо, а влево, и он оказался бы не в «Новом мире», а в «Знамени», в «Октябре» или еще в каком-то из московских журналов, — что было бы с той повестью и с самим автором?.. Тут вариантов не так много. Самый благополучный (скорей всего так бы и было): трезвый и порядочный рецензент, зарабатывая свои пятнадцать рублей на «Иване Денисовиче», отписался бы, упреждая автора от грядущих неприятностей, — читайте классику и сборники советских писателей о мастерстве, пишите о сегодняшнем дне и трудовых свершениях, печатайте с полями и через два интервала, избегайте ложной сенсационности. Или вариант иной: (тоже вполне возможный и примеры тому были): рецензент еще более трезвый и вперед глядящий остановил бы внимание руководства на опасности такого рода выводов из решений XX съезда партии — нужно ли так уж художественно обобщать отдельные ошибки времен культа личности и возводить напраслину на наш оплот? А там — как бы уже решило начальство в «Знамени» или «Октябре», может быть, и не повторилась бы история с Гроссманом: там был громкий, к тому ж опальный писатель, а тут явно сбрендивший и свое недосидевший зэк — выбросить в корзину или отписать чего-нибудь похлеще, чтобы одумался, коль недосуг заявлять куда следует. И уж во всяком случае, несомненно, что не могло быть триумфального шествия «Ш-854» по редакционным кабинетам, ночных сумасшедших звонков главного редактора своим друзьям, распивания на радостях бутылок — праздника литературы. Не было бы невероятных — прямо для истории литературы — обсуждений в кабинете главного редактора «Нового мира», при всех своих сложностях и накладках ошеломивших «дремучего зэка» — ошетинившегося, готового к чему угодно, раскаявшегося в том, что он натворил, высунувшись («ведь я — опять в их руках», «как мог я, ничем не понуждаемый, сам на себя отдать донос?..»), — обсуждений, на которых вполне конкретно решался вопрос, как напечатать! Как не было бы и сложной, опасной для редакторов с партбилетами в кармане и нтриги проникновения к высшему начальству, понимаемой как смысл существ-

ования журнала, свое кровное дело: готовности поставить на карту собственную судьбу — лишь бы напечатать повесть безызвестного автора. (Да сам же Солженицын, противореча себе, тут же и замечает: «Кто из вельмож советской литературы до Твардовского или кроме Твардовского захотел бы и одерзвел бы такую разрушительную повестушку предложить наверх?»). Правда, и здесь есть некая случайность — не обойдешь ее: а если бы не тонкий и точный план А. С. Берзер, сумевшей отдать повесть прямо в руки Твардовского, увидел бы свет Иван Денисович, не произошло бы с ним того же, что могло быть в «Знамени» или, страшно вымолвить, — в «Октябре»? По-всякому могло быть.

Все так. И с точки зрения логики внешней и справедливости чисто житейской, на уровне психологии взаимоотношений автора и редактора, мысль автора о случайности его связи с осчастливившим его «Новым миром», о всего лишь личной его благодарности главному редактору самого нашего смелого и прогрессивного журнала (о которой он говорит в «Теленке» не однажды) может показаться мало убедительной и неосновательной. Но если, хотя бы мысленно, вспомнить судьбу автора «Ивана Денисовича», с юности мечтавшего быть писателем, еще не понимая что это такое и только спустя годы с ужасом, как от морока, откачнувшегося от того, кем он мог стать («Страшно подумать, что бы я стал за писатель (а стал бы), если бы меня не посадили»); фронтового офицера, прошедшего всю эту страшную войну, выдернутого уже из Восточной Пруссии да прямо на Архипелаг, если шаг за шагом пройти за ним кругами Лубянки, лагеря, вечной ссылки — годы, когда он стал писателем, убежденный, что при жизни и досужей мечты такой не надо — напечататься, а только уверенный, что не должна, не может пропасть работа: «кому невидимым струением посылается — те воспримут», только сохранить бы конченные уже вещи в тайне, а с ними и самого себя, — если пройти за ним огненными этими кругами (не забыть запущенный рак с неизбежным уже концом, последние месяцы, бессонные от болей ночи, мелкий-мелкий почерк, закрученные в трубочки листочки, а трубочки в бутылку из-под шампанского, а бутылку в землю на огороде), а рядом — в то же самое время, повторяюсь я, увидеть жалкий лакейский пир нашей печатной литературы с ее фестивалями, декадами, лауреатами — до дачных поселков-заповедников и мерзости писательского клуба под сенью и покровительством генерала органов, — если все это в месте увидеть и

сопоставить, то и станет несомненным, что еще, быть может, не осознавая и того не умея понять, автор «Ивана Денисовича» и жил уже в русской литературе (потому что Россия и была на Архипелаге, а не на том лакейском фестивале), в той самой единственной — расстрелянной, затоптанной и, тем не менее, существовавшей литературе, жившей свою жизнь, развивавшейся под толстым слоем льда, не прекращаясь и не переставая, дожидаясь своего часа. А потому, с той — высшей точки зрения, исходя из той — высшей логики, какое там было различие меж московскими журналами и главными их редакторами. И случай был всего лишь случаем, а прорыв мог быть не в тот, так в другой раз — не от тех случайностей зависит судьба русской литературы.

А потому речь может идти только о случае несомненно Промышленном, о случайностях, сопутствующих истинному таланту, об удаче, надувающей паруса подлинной отваги и самоотвержения, хлопчущего не о своекорыстии и удовлетворении тщеславия; о награде тому, у кого и надежды уже нет, только работа и работа — на ходу в конвоируемой колонне, в степи морозной, на этапе, в гудящем бараке, кто не может не писать, кто поклялся памятью расстрелянных и замученных, тех, кто не дохрипел, не дошептал на цементном полу — памятью миллионов, и уже себе не принадлежит.

Легко говорить сегодня с той высшей точки зрения, исходить из высшей логики — задним умом кто не крепок. Понимал ли Твардовский, что это была за встреча, что за ветер ворвался в тесные комнатухи «Нового мира» вместе с невиданным нашей литературой героем, которого она принципиально не желала знать, успешно делая вид, что его и вовсе нет, как ни клялась при этом именами Пушкина и Гоголя, как ни молилась (тайно или, осмелев, явно) на Достоевского; что за беда, если миллионы и миллионы тех героев в ту же самую пору грелись под звездами меж штабелями обледенелых трупов в Оротукане на Колыме, кого убивали поощряемые на то блатари в Воркутинских лагерях, кого косили из пулеметов в тундре по дороге на Салехард. Не помещался тот герой в систему, не охватывался методом, был чужд эстетике соцреализма, — а стало быть, можно было считать, что его нет. (Или сошлемся здесь на невинность нашей обманутой литературы, от которой скрыли десятки миллионов Иванов Денисовичей: что ж, и Горький не увидел его на Соловках, а Зошенко, Катаев, Вс. Иванов, Тихонов, Славин, А. Толстой,

Шкловский и Бруно Ясенский не заметили на недоброй памяти Беломор-канале, воспев систему п е р е к о в к и, впервые открывшейся там «так смело, в таком широком объеме?»*

Не понял Твардовский того, ч е м была эта в с т р е ч а — не умом было ее оценить и не аршином измерить. Но трагедия (а не какая-то нелепая случайность!) была здесь в том, что в с т р е ч а эта тем не менее состоялась, что Твардовский ждал ее всей своей жизнью, беда которой так и осталась им непонятой, чистотой своего истерзанного сердца, высотой своей любви к стране, вопреки тому, что подчас говорил и писал. Потому и стала возможна та в с т р е ч а и т о, что из нее произошло, что Твардовский был не только одним из крупных русских поэтов XX века, но самой крупной фигурой в нашей литературе, х а р а к т е р о м, в котором сошлось все, что определило и погубило нашу словесность в эти полвека: поэт с Божьим даром в груди, ответивший «Страной Муравией» на погубленную судьбу отца, уничтоженного вместе с миллионами русских крестьян, ставший потом сталинским лауреатом, пройдя страшную войну, написав «Теркина», выпустив полтора десятка книжек «Нового мира», до конца выстаивая за свою правду, попытавшись в последней поэме всего лишь рабски намекнуть на свою любовь и верность погибшему отцу (отделив его от остальных миллионов, их защитить всё еще не смея), он и эту поэму предал в жалком письме в газету, с п а с а я журнал.

И не преминуть здесь повториться, но уж совсем конкретно, чтоб представить себе совершенно реально, как появляется Твардовский перед нами в «Теленке» во всей этой трагической противоречивости в первую их в с т р е ч у: он сияет от счастья — это его праздник, ему награда, он и не чаял, что дождется т а к о г о, он уже любит открытого им автора, будто сам слепил его, он гордится им, как своим созданием, да и замечания его конкретные по повести — обходительные просьбы, а больше он, вспоминая, перебирает, цитирует с удовольствием и радостью, с умилением; он не обещает при этом твердо н а п е ч а т а н и я («Господи, — думает об том и не мечтавший зэк, — да я рад был, что в ЧКГБ не передали!»), но это беседа единомышленников, разговор о л и т е р а т у р е и не потаено ото всех скрытый, они сидят в кабинете главного редактора, за большим столом, тут же все руководство

* «Беломоро-Балтийский канал имени Сталина». История строительства. Группа перечисленных и других авторов (35 человек). Гиз. «История фабрик и заводов», 1934, стр. 12.

журнала, и все поддакивают главному, вместе с ним сияют и радуются, хотя и несравненно более сдержанно. И всех интересует: а что у него еще есть — «еще — что? еще?»

Невдомек им всем, дружно радующимся, что тут — опасно! что ту пробоину в днище расширить — не залатаешь и не откачать, что там бурлящий поток литературы — вот-вот вырвется...

И выплывает вторая вещь — рассказ о нищей старухе Матрене. Там были прямые «последствия культа» — прошлое всего лишь, и можно еще представить как некую иллюстрацию к громкой речи первого секретаря на съезде, а уж тут так все сходится: русский крестьянин, художник истинный, поэт от Бога — Твардовский не может упрекнуть автора в неправде, но ведь и признать эту правду — как быть с другой правдой — партийной, билет-то в кармане, а раздваиваться он не может: «Ну да нельзя ж сказать, что Октябрьская революция была сделана зря?», «А кем бы был я, если бы не революция?..»

И, уж конечно, рассказ про Матрену нельзя печатать, но само хочет ли печатать — вот уж сразу и не поймешь, как не взять в толк и такого его восклицания после всего сказанного здесь о партийной правде: «Только пожалуйста, не станьте и д е й н о в ы д е р ж а н н ы м!»

Твардовский и возникает в этих столкновениях с п р а в д о й, которой алчет и не может принять его душа, разрываясь от невозможности жить двоясь — «то светясь благородством, то сгибаясь под догматическим потолком», — с перепадами, выказывая то корневую крестьянскую деликатность, истинный аристократизм, а то проявляясь ничтожным советским вельможей. И его потребность непременно и до конца в е р и т ь — в Сталина ли, прощая ему гибель крестьянства, в Хрущева, с его якобы очищенной правдой, падая духом от неласкового телефонного звонка чекистского чиновника и расцветая от поощрительной улыбки другого чиновника чуть поважней. И быть может, особенно отчетливым — прямо пластически-реальным становится он в сцене запоя (Твардовский читает «В круге первом» у Солженицына в Рязани), которую, быть может, и не следовало освещать «по личной бережности», но тогда не было бы представления «какими непостоянными, периодически-слабеющими руками велся «Новый мир» — и с каким вибрирующим огромным сердцем»).

И, конечно, не сочинить рядом с Твардовским х а р а к т е р а принципиально более иного, чем автор «Ивана Денисовича», хотя

главный редактор того долго не мог понять, а до конца, видно, так и не понял — при всей своей человеческой мудрости и поэтической прозорливости. Не видел он таких людей, не знал их (а потому, как уже говорилось, полагал, что их и вовсе нет).

Это и было чудом, несомненно, Промыслительным, что русская литература началась для нас вновь таким характером, другой бы и не прошиб той толщи льда, а теперь, спустя полтора десятилетия, понимаешь, что только таким он и мог быть: из породы эков — «племенного нашего закала». И для тех, кто эту породу захочет понять, «Теленком» не ограничишься, да ведь Солженицын и другие книги — пособия к тому, как закал происходит, предложил нам. (Но и в «Теленке» материала достаточно.)

Здесь, в этом характере, все принципиально отлично и с вполне сложившимся, отстоявшимся типажом советского писателя несоотносимо.

Он — свободен при всей своей подпольности, затаенности, бесправии и ничем-не-защищенности. Ему не нужно ничего из того, на чем ломались и истощали себя более чем незаурядные художественные дарования за полвека нашей литературы: положения в обществе, иерархии, знаков отличия, наконец, квартиры или дачи; у него нет ничего из того, что на наших глазах превращает замечательного русского поэта в жалкого чиновника; ему даже не нужно печататься, если цена за это — измена своей книге в любой малости: перед братьями, перед эками, перед Экибастузской голодовкой, перед Кенгирским мятежом — ему стыдно и разговаривать об этом в редакции журнала, он подождет и не торопится, русская литература от того печатания не зависит.

Он — «дремучий эк», и потому «раскидывает чернуху»: молчит о написанных уже вещах (не в том же, пусть и самом смело-прогрессивном журнале раскрывать свою стратегию, рассказывать о захоронках, многоэтажной системе конспирации и своих планах — не потому что донесут, а не поймут, не способны понять!), он и на историческую встречу во Дворец, где собрался цвет нашей культуры, собирается зачуханным провинциалом: в стареньком костюме, в чиненных-перечиненных ботинках, «сильно нестриженный»; он блистательно придривается в разговоре с Демичевым — ему надо время оттянуть, у него свои планы, своя стратегия, но работает, как огромный завод, как целая

сражающаяся армия, и у каждой из его дивизий своя боевая задача: не поспей он двинуть одну, позабудь оставить другую в резерве, не подтяни вовремя третью — вся кампания с треском провалится, а у него уже нет права на поражение, потому что пока что он один — вырвавшийся — и есть русская литература.

Он — «озвенелый эк», и когда приходит пора, минута — на него начинают нападать и он видит обозленные глаза — он во весь рост выпрямляется (тоже по плану: «Я никогда не выйду из себя, это просто невозможно, в этом же лагерная школа. Я взорвусь — только по плану, если мы договоримся взорваться, на девятнадцатой минуте...»!) Конечно, они не знали породы эков — куда им! «Десять лет я ждал, — говорит он освобожденно, отвечая Дементьеву, — и могу еще десять лет подождать. Я не тороплюсь... Верните мне рукопись». Он входит в Союз писателей для разговора с секретарями — «как жердь с головой робота», видит перед собой Федина с его лицом «порочного волка» — он им и одного слова не уступит; он кидает Твардовскому в предельном разговоре: «Не оскорбляйте! От надзирателей я ведь слышал и погубей!..»

Но план планом, а проговаривается иной раз автор — искренне, простодушно, беззащитно, подводит темперамент, не выдерживает, высказывает подлинную слабость, и тогда веришь, понимаешь — жи вой, не «жердь с головой робота», тогда с ним хочется говорить, не соглашаться, спорить — с непониманием ли, незнанием, противоречиями, переоценкой одного и недооценкой другого, тогда книга и входит в твою жизнь, а не просто демонстрирует тебе чудеса — удивляйся да свою несостоятельность оплакивай.

Здесь как раз и есть камень преткновения для многих читателей книги Солженицына — обиженных, раздосадованных, обозленных, отказывающихся понимать писателя из-за кажущегося им искажения правдоподобия, слишком личного отношения к людям или событиям. Так легко прощает порой читатель себе то, чего ни в коем случае не хочет прощать в другом, хватаясь за слабости, которые писатель сам перед ним открывает, за противоречия, которые он же простодушно ему демонстрирует, забывает главное — то, ради чего книга написана и прожита такая жизнь...

Тяжко складывалась дружба главных героев книги Солженицына, да и могла ли она быть? Но они оба тянутся друг к другу: Твардовский — одинокий («обреченный на одинокое стояние»), от крупности ли, понимания своего несоответствия среде, в которой

прожил жизнь, трагического слома судьбы, со вспыхнувшей, быть может, и не осознанной надеждой, сердцем потянувшийся к русской литературе, которая и должна была стать смыслом его жизни, его судьбой («А кем бы был я, если бы не революция?»); Солженицын — не могущий не увидеть, не оценить и его «мужицкий корень», и «проступающую поэтическую детскость, плохо защищенную вельможными навыками», «особенное природное достоинство»...

Что ж это могла быть за дружба при такой несхожести жизни и судьбы: «не бывает дружбы без сходства представлений, без зоркости и внимательности к другому», — пишет Солженицын, без равенства, добавим мы.

А отсюда полное непонимание в мелочах и в главном. Твардовский любит открытого им автора, но тиранически (как свое создание), ревниво (он принадлежит только «Новому миру»). «Куда вы все торопитесь?» — спрашивает главный редактор. Все писатели садятся, неторопливо покуривают (Симонов, например), покалякают о том, о сем, чайку попьют с бубликами... Где уж главному редактору самого прогрессивного журнала, п е р в о м у поэту понять, что у того нет в р е м е н и калякать, что оно на двадцать лет вперед просчитано, что у него А р х и п е л а г о м горит сердце, что «Р-17» в работе, что нужно новую редакцию одного, второго романа отстукать, что все это надо не просто н а п и с а т ь (а и того для писательской жизни чрезмерно), но тут же страницы, из-под пера выходящие, прятать, перепрятывать, микрофильмы делать, своей тени пугаясь... Твардовский с Некрасовым в минуту огорчений («Иван Денисовичу» премию не дали, номер задержали, Демичев косо глянул, Воронков нагрубил) отправляются «лимонадик» пить, а Солженицын понять не может — откуда у них время на тот «лимонад», у него земля горит под ногами — и минуты нет пустой — одна дивизия прямо в бой брошена, вторая с фланга наступает, третья, резервная, сигнала дожидается, в дальних сугробах вязнет. Он уже весь в Архипелаге, в Тамбове 21 года, а в «Новом мире» просят «проходимого рассказика» — ситуация как раз в жилу, может быть очень удачно, п р о й д е т — и т. д. и т. д.

И тем не менее, не было б речи о т р а г е д и и в столь высоком ее понимании, когда б автор «Теленка» ограничился констатацией возможности встречи двух столь разных характеров, случайно ли, нет, в редакции советского журнала, ее только бы зафиксировал, не увидев их в сложнейшем, так много значащем для

нас п у т и. В том д в и ж е н и и и открылась истинная трагедия.

Этот путь и это движение важны для нас не просто как факт нашей истории или литературы, не только как показатель возможности и сегодня т а к о й жизни, т а к о й судьбы и т а к о г о характера, а для любящего сердца и поразительного свидетельства живой души народа, нации, существующей и развивающейся под толщей льда, так сковавшего за эти десятилетия все духовные силы народа, что иным казалось — все кончено и быть ничего не может, — а уж сколько по тому поводу раздается горьких, а чаще злорадно-мстительных восклицаний и торопливых пророчеств!.. Попытка понять тот п у т ь и д в и ж е н и е необычайно важна еще и потому, что это все, повторяю я, не только история и не просто литература, — но наша собственная жизнь. Это с нами все происходило: это мы с четверенек поднимались, переставая собственной тени бояться, это мы во весь рост распрямлялись, переставая лгать. И, уж конечно, з а п а д у не понять, ч т о это значит для литератора, писателя — перестать бояться сначала мысли о собственной книге, потом рукописи н а столе, а потом самой возможности о т д а т ь ее читателю.

И вот, шаг за шагом мы идем за автором «Одного дня Ивана Денисовича» т е м п у т е м. Пока Твардовский качается от надежды к отчаянию (а размах тех качелей — от «звонков», перемещений должностных лиц и ситуации), Солженицын работает не останавливаясь (роман арестован — работа, архив взяли — работа!). «Мы с печалью, а Бог с милостью», «Все минется, одна правда останется», «Один со страху помер, а другой ожил», «Пришла беда — не брезгуй и ею...» — читает и читает он, и внезапно опоминется: его ж н е б е р у т, не взяли — он выиграл! Он с в о б о д е н, ему уже незачем прятаться — никогда, ни перед кем! Вот в чем тайна шифра: отвага — половина спасения! В «Новом мире» в силу о с о б ы х о б с т о я т е л ь с т в увеличивают конспирацию, получив «Раковый корпус» не дают его читать даже... своему отделу прозы (!), а Солженицын счастливо в ы п у с к а е т рукопись из рук — по Москве «шагают самиздатские батальоны!» Вот когда возникает новое к а ч е с т в о жизни литературы: Солженицыну уже неинтересно, будет его печатать «Новый мир» или нет, ему безразлично, что они там решат, он уже не верит в легальное печатание — зачем, когда люди читают! Мозги нашего издателя так заморочены противоестественностью жизни,

что он не в состоянии понять (Твардовский так до конца и не понимает), как это автор просто так может давать читать книгу — «рискованную» и для предъявления цензуре, а Солженицын уже думает «как раз наоборот»: «Я написал — я и раздаю! Провалитесь все ваши издательства! — мою книгу хватают из рук, читают и печатают ночами, она станет литературным фактом прежде, чем вы рот свой раззявите!» — «Свои произведения своим соотечественникам отчего ж не давать?»

Да, западу не понять, да, тому, кто всего этого не пережил и с молоком не впитал — не прочувствовать, что это значит, когда с детства раб, вскакивающий за фальшивыми аплодисментами, права не имеющий никогда возразить, вчерашний зэк — руки назад, из строя не выходить! — первый раз в жизни говорит! Но он говорит, его книги читают — и уже невозможно вернуться назад к потаенной тихости: новая литература — литература русская не только возникла, она уже заявила о себе в полный голос и теперь только смешно и сключеные ее из Союза писателей: «Протрите циферблаты! — ваши часы отстали от века. Откиньте дорогие тяжелые занавеси! — вы даже не подозреваете, что на дворе уже рассветает. Это — не то глухое, мрачное, безысходное время, когда вот так же угодливо вы исключали Ахматову. И даже не то робкое, зябкое, когда вы с завываниями исключали Пастернака. Вам мало того позора? Вы хотите его сгустить? Но близок час: каждый из вас будет искать, как выскрести свою подпись под сегодняшней резолюцией. Слепы поводыри слепых!..»

А для тех, безумно осмелевших, кому сегодня, спустя пять лет (а через пятьдесят?) — не современникам, ничего подобного не пережившим и не испытавшим — со стороны, кому все это покажется экзальтацией, риторикой, позой — для координации и ориентировки во времени, поразительным комментарием выглядит здесь Твардовский. Хотя и тут — тому, кто не знает или не понимает, кем он был в нашей литературе: поэт, гражданин, человек, — не понять боль и отчаяние, которые испытываешь, встречаясь на этих страницах с ним, живущим в то же время, да не так, а потому таким подавленным и неуверенным, впадающим в малодушие, потому весь он — вся его «истерзанная жизнь» в этих «опаданиях и приподыманиях», в этих «затемнениях и просветлениях» — «он и не с теми, кто всего боится, и не с теми, кто идет напролом. Тяжелее всех ему» Потому так беззащитны его бледно-голубые

глаза. потому так «крупно трясутся, даже пляшут его руки»; оттого все эти перепады, от которых уже нет сил очнуться.

Но ведь и он не застыл — Твардовский — движется: уже восхищенно читает Самиздат, а еще недавно брезгливо отдергивался ото всего, что не напечатано законно — не получило штампа главлита: «Ведь это ж целая литература! И не только художественная, но и публицистическая, и научная!»; уже слушает Би-Би-Си (!), не всё дает машинистке!.. (Столько-то для первого поэта России, после «Теркина», пятнадцати лет «Нового мира», страшного опыта собственной судьбы — все еще не понимая что произошло!).

Уже поздно — и не движется он, топчется на том перекрестке, да и на это не осталось у него времени и сил.

И не придуманный (как и все здесь) — да и не выдумать! — трагический финал этого внутреннего сюжета: две последние их встречи. Твардовский в больничной курточке — фиолетово-зеленополосчатой, в лечебных кальсонах, обернутый пледом, с бездействующей правой стороной, с глазами рассредоточенными, теряющими собранную центральность; его ведут к столу, подтягивая руками волочащую ногу; он не может говорить: «выходит изо рта набор междометий, служебных слов — без главных содержательных» — мычит. И это в то самое время, когда с детства раб, вчерашний зэк набирает полную грудь воздуха, когда у него в руках Архипелаг и он вот-вот крикнет им на весь мир...

Разве не чудо эта судьба, не свидетельство того, что Россия просыпается? Так ли уж романтичны слова Солженицына и от того лишь всего сказаны, что голова кружилась от чрезмерности собственной победы: «Не тот ли миг из предсказаний пещерных призраков, когда Бирнамский лес пойдет? И так ли уж наивно-самоуверенна ранее высказанная надежда: «пока теленок шею свернет о дуб, или пока дуб затрещит и свалится. Случай невероятный, но я очень его допускаю?»

В переполненном утреннем вагоне метро меня стиснуло, перевернуло и шлепнуло на освободившееся место рядом с лохматым пареньком в брезентовой куртке со знаками стройотряда. На его широко расставленных коленях лежал туго набитый портфель, а на нем раскрытая толстая рукопись. Он и не посмотрел на меня, крепкие пальцы легко переворачивали страницу за страницей перед

моими глазами. Я ткнулся в текст и остолбенел: «Сологдин...» — увидел я. «Нержин...» — летело дальше... А вокруг сменяли друг друга люди, нависали над рукописью, перемещались...

Он почувствовал мой взгляд, поднял на меня невидящие глаза и отвернулся, как от стены, меня н е з а м е т и в .

Это была даже не судьба книги, судьба у нее была своя — звонкая и прямая, как натянутая струна. Я почувствовал, увидел, понял ж и з н ь ее. Она была рождена здесь, здесь написана, напечатана автором, ее перепечатывали десятки рук, и корысть у ее и з д а т е л е й была одна — реальная и четкая возможность схлопотать за это срок. Не абстрактный и никак не литературный. Она жила своей собственной — нашей русской жизнью и ей не нужны были реклама, громкие шапки газет, радиоголоса, политика, политиканство, спекуляция, мародерство, ученые предисловия, снисходительное или восторженное удивление.

Она жила своей — н а ш е й жизнью.

3

Из всего напечатанного «Новым миром» за годы, прожитые автором «Теленка» в литературе, он останавливается в своей книге подробно только на одной публикации, быть может, самой неудачной (поклонники «НМ» в свое время на нее и внимания не обратили, да и далеко не всем сотрудникам журнала она пришлась по душе), а если по-другому взглянуть — самой наотмашь-характерной, а уж для того глубинного понимания сути процесса, идущего у нас сегодня, лучше примера и не найти.

Не в громких новомировских статьях, которых так робела официально-захваливаемая литература и которым так умилялась либеральствующая интеллигенция, вспоминая Добролюбова и Чернышевского, не в бурных спорах о «ремесленности литературы», «маленьком человеке», «правде факта» и оглушительной смелости обличения казнокрадов и ретивых начальников — не во всем этом словоизвержении, принесшем «НМ» репутацию **самого смелого и единственного** журнала, искать той характерности — это было всего лишь литературной игрой, в лучшем случае искренней, но живой жизни никакого отношения не имевшей. А вот статья бывшего замредактора журнала А. Дементьева (69, № 4), громыхнувшая против так называемого «славянофильства» «Молодой гвардии», до смерти напугавшего нашу интеллигенцию, эта ста-

тья ту характерность неожиданно и для самого «Нового мира», всего лишь мудро планировавшего свою «стратегию отечественной мысли», и выразила.

Историю «той несчастной статьи» Солженицын рассматривает внимательно и заинтересованно (и статьи «темноватого публициста» Чалмаева из «Молодой гвардии», и статью Дементьева, а потому, на самой истории еще раз не задерживаясь, отошлем читателя к тем подробным страницам,* бережно выписывая из «сумбурного», «беспорядочно-нахватанного», «малограмотного по уровню», «со смехотворными претензиями», «разряженного в компатриотический лоскутный наряд» — «мычания немого, отвыкшего от речи» — из статей публициста из «М.Г.» — удивительное в нашей печати, действительно ценное: нравственное предпочтение «пустынножителем», «духовным ратоборцам» — перед революционными демократами; защита истинной культуры, сделанного в начале XX века — перед телевизионной суетой и беготней фильмов, и о народной речи («питании поэзии»), перед опустошающим мысль и чувство выхолащенным языком, и о земле — вечном и обязательном, и о «просвещенном мещанстве» — «образованщине», и упоминание имен (немыслимых у нас даже в таком не согретом религиозным чувством, но положительном контексте) Сергея Радонежского, патриарха Гермогена, Иоанна Кронштадтского, Серафима Саровского, Достоевского и даже Христа (!). «Одним словом, — подводит Солженицын итог своим выпискам, — в 20-30-е годы авторов таких статей сейчас же бы сунули в ГПУ да вскоре и расстреляли». А тут всего лишь «лупанула» по ним вся советская официальная пресса, с «Коммуниста» начиная, а «НМ» уж так точно, но на своем «высоком» и н т е л л и г е н т н о м уровне, в этот хор вписался.

Та новомировская невысокого разбора стратегия («эмоциональный толчок») тут ясней ясного: «расплатиться за свою вечную загнанность: изо всех собак, постоянно кусающих «Новый мир», одна провинилась, отбилась — и свои же кусают ее. Смекнув ситуацию: вот удобно ударить и нам! Чем ударить? — марксизмом, конечно, чистейшим Передовым Учением... Но по крайней мере один человек в редакции — Твардовский, мог бы помнить и понимать пословицу: волка на собак в помощь не зови...» Тут и вся стратегия, тут и проверенное вооружение, но тут и единственный исход сражения.

* А. Солженицын. «Бодался теленок с дубом», стр. 268-278.

Нам-то сейчас не это важно, а характерность в той кампании, отчетливо себя открывшая. Такая была война — полтора десятилетия гром пушек не смолкал: один журнал роман печатает — другой тут же статью против, тот поэму — а этот фельетон. На самые животрепещущие темы и полнейшее, принципальное расхождение — прямо партии враждующие, классы! Уж не только за один столик в писательском клубе сесть не могли, поговори сегодня в коридоре с автором из «Октября» — тебя завтра в «Новый мир» не впустят! А пришло к делу — объединились! (Хоть и по-прежнему, как в пьяной драке, свой своего не различает — машут кулаками: даже и ту правоверную статью Дементьева софроновский «Огонек» — «самые поворотливые трупоеды» визгливо-доносительно взялись топтать — волка на собак в помощь не зови!) Вот и стало очевидно, что все это различие — и чайной ложкой не принять, что все те споры — литературная эквилибристика за полноценный гонорар (уж как не договориться у одной кассы!). Вот она реальная опасность, почувствовали, распознали (и в малограмотных, смехотворных претензиях прочитали, в компатриотическом лоскутном наряде различили!) — русская культура из-под спуда глянула, а уже позабыто про нее давно: изничтожена, расстреляна — какие-то «добрые храмы», «грустные церкви», монастыри, русская деревня, русский язык, «дух нации», «пустынножители»... Тут — не игра, как же перед лицом подлинного, из гробов заколоченных глянувшего, живого — образованцам, вчерашним «непримиримым» врагам — да не объединиться!

И удивительный разговор после этой статьи в стенах «Нового мира» — разговор автора «Теленка» с первым поэтом России и с первым его заместителем по журналу: «Александр Трифонович, вы «Вехи» читали?» — три раза он меня переспросил! — слово-то короткое, да незнакомое». И Лакшин на тот же вопрос: «Нет... Мне — сейчас — это — не надо».

Мне так думается, что более сокрушительного удара, чем в этих страницах «Теленка», наша либеральная интеллигенция не получала — и в «Образованщине» так ей не вмазали. Конкретная-то история всегда характерность отчетливее дает понять.

Процесс раскола Солженицына с его читателями, с художественной интеллигенцией, о котором он с горечью упоминает, начавшийся, как он полагает, с письма Патриарху или «уже с «Августа», с тех пор, как пришла пора говорить «все точнее и

идти все глубже», — был неизбежным. Думаю, что на самом-то деле он еще раньше начался: на «Иване Денисовиче» многие спотыкались да носом крутили, — но ведь и смелость нужна от такого сразу же откачнуться, а что еще для русского интеллигента всегда было страшней собственного мнения! А тут, когда открылся, когда самый главный его интерес, его боль и его любовь стали для всех очевидны — тут уж совсем всё и определилось. Вот они откуда — брюзгливое недоброжелательство, рабская ненависть, а уж разнообразие «оттенков» в тех обвинениях хоть кого поразит и озадачит: от антисемитизма до сионизма, от монархизма до крайнего экстремизма — «Боженьки захотелось!»... Религиозность, православие, Христос — а отсюда: культура, Россия, дух нации, отечественная история... Нет для интеллигента-образованца врага ненавистней, круга тем и проблем более неприемлемых, традиционно чуждых, а по сегодняшнему нежеланию что-нибудь знать о жизни своего отечества — и вовсе не существующих. Атеизм, воспитанный с детства конформизмом мышления, настолько естественен для образованца, что ему и в голову не приходит всерьез задуматься о том, откуда он взялся — атеизм-то этот? Об этом не принято говорить и спорить; в том атеизме нет ни грана сознательного отношения или мучительного личного опыта — это усвоено изначально, принято на веру — единодушия в этом вполне достаточно для того, чтобы сие не обсуждалось.

Тут прямая — своя собственная! — традиция. Кто в первое же десятилетие практического осуществления полувековых чаяний интеллигенции уничтожал те самые «добрые храмы» и «грустные церкви», расстреливал не только память о русской культуре, но и тысячи и тысячи мучеников веры вбивал в фундамент того здания? Позабыл про это сегодняшний образованец, знать не хочет о своей вине, убежденный (по своему принципиальному невежеству) в конъюнктурности всякой религиозности, тем более православия, убежденный в том, что власти несомненно выгодно христианство, ибо, если, мол, оппозиционность либерально-интеллигентского мышления (пусть только на собственной кухне эта смелость проявляется!) представляет конкретную опасность режиму, то следование заповедям ведет на словах к уходу от мира, а на деле — к коллаборационизму.

Надо ли напоминать о фактах и логике оппоненту, не желающему знать ни фактов, ни логики, подозрительно относящемуся не только к религиозной философии, но к философии и ме-

тафизике вообще, глухому ко всякой, даже гениальной проповеди, к отечественной истории или собственному опыту. Надо ли пытаться объяснить элементарное: что Идеологии, так же как и самому образованцу, ненавистна всякая иная жизнь, которую она так же не понимает, а потому особенно ненавидит: что Идеология, исходя из своей логики, права, потому что, если расправа с инакомыслием коммуниста или либерального интеллигента ничего не стоит — борьба ограничивается здесь лишением такого противника материальной или правовой независимости — то с человеком в е р у ю щ и м поделаться ничего нельзя, кроме его физического уничтожения, которым тоже ведь христианина не напугаешь: он знает, что ни один волос с его головы не упадет без воли Того, Чей Промысел он как орудие призван осуществлять. Сказано: «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить» (Мф. 10,28).

Да уж не повторяйтесь! — отсылаю читателя к соответствующим статьям сборника «Из-под глыб», достаточно полно проанализировавшим тему, создавшим портрет образованца, только и занятого собой — с в о и м и проблемами (от сугубо личных — организации собственной жизни, до сугубо интеллигентских — «общечеловеческих»), а уж народа русского, выяснилось — и вовсе давно не существует, а Россия — всего лишь проклятая территория!

А меж тем, что бы про это его радетели и благодетели ни писали и ни думали, живет этот народ на той территории, говорит на том языке — и давно уже и жизнью своей, и всем своим душевным обликом потерял образованец право и возможности его истинную печаль понять и трагедию измерить. Не годятся для такой работы, как уже говорилось, самоновейшие социологические и математические методы, злобнорадостное обличение: одной только л ю б о в ь ю постичь эту, вырастающую из кровавого хаоса, удивительную страну — пусть еще в единичных судьбах она, но она уже Р о с с и я, пусть все еще кажется беспомощно-безоружным ее религиозный гений в борьбе с дьявольщиной, залившей ее морем крови, пусть для стороннего взгляда убогой и жалкой стоит она сегодня в своих чудом сохранившихся храмах.

Но — стоит. Более того, если знаем мы сегодня (а уж как мучительно и горько далось нам это знание!), что сохранилась Россия, вопреки всему, только на Архипелаге, то сегодня, несомненно, она — в Церкви. Только там, пройдя все немыслимые

огненные испытания, являет она всему миру высоту истинной любви и страдания... (Известно нам, нет иллюзий, что и мир к этой высоте, к этой любви и страданию давно равнодушен, не того ему от нас нужно, другого ждет...)

Стоят бабки — и те, чьи мужья кресты с колоколен сбивали, и те, чьи — с крестами на груди свой крест приняли; стоят их дети, из ада вырвавшиеся, в себе Голос услыша, все, что им десятилетиями вдалбливали, заглушивший. А проблемы, перед каждым из них и перед всеми возникающие, — не пересказать, не перечислить, — а уж какие они, коль не исконно-русские, нашим общим страданием напитанные; а реальность, их обступающая, — такую их беззащитность перед этим жутким миром выказывает! Но стоят. И сомнений нет — выстоят.

И литературу, ту самую — р у с с к у ю, о которой нам «Иван Денисович» дал возможность вспомнить, в пролом хлынувшую, уже не остановить: ручеек тот такими в о д а м и питается — не иссякнет. А забьют снова телами, зальют кровью — опять уйдет под лед, в почву, в землю родную — только сила наберется, еще и не такой вырвется.

Неисследимы связи литературы, ее таинственные пути с матерью-землей. И чем старше мы становимся, чем более тяжек наш опыт, тем глубже понимаем всю значимость этой земли для нас, то, что всё — оттуда, всё там, куда и мы уйдем, и смертью ту истину утверждая.

Да не поминать сейчас всего, что говорено о России теми, кто всё еще счеты с ней сводит — к беде своей только. И о том, что любви им недодала, и о том, что ненависть их «очистительная» — ей на пользу. «Счастливую и великую родину любить не велика вещь, — написал Розанов, а с той поры более полувека прошло, и т а к о е на этой земле было, а коснулось — какие живые слова! — Мы должны ее любить, именно когда она слава, мала, унижена, наконец, глупа, наконец, даже порочна. Именно, когда наша м а т ь пьяна, лжет, и вся запуталась в грехе, мы и не должны отходить от нее. Но это еще не последнее: когда она наконец умрет и будет являть одни кости — тот будет р у с с к и й, кто будет плакать около этого остова, никому не нужного и всеми плюнутого. Так да будет...»

Да, много ошибок, просчетов, заблуждений в нашем понимании и в выводах из этого понимания — но сказано нам, что если это всего лишь от человек — разрушится, а если от Бога — никто не сможет его разрушить, устоит. Так и Солженицын пишет

в своем «Теленке»: «Еще многое мне и вблизи не видно, еще во многом поправит меня Высшая Рука. Но это не затемняет мне груди. То и веселит меня, то и утверждает, что не я все задумываю и провожу, что я — только меч, хорошо отточенный на нечистую силу, заговоренный рубить ее и разгонять. О, дай мне, Господи, не преломиться при ударе, не выпасть из руки Твоей!»

А потому, как бы серьезны ни были порой наши ошибки и заолуждения, как бы ни были горьки наши печали и тревоги — как не обращаться мыслью к тому, с чего и началось для нас это р а з д е л е н и е — меч, блеснувший в свете фонарей зоны на том п е р е к р е с т к е! Как не возвеселиться сердцем, не утвердиться духом, когда видишь поднимающийся вокруг, зеленеющий тот л е с, двинувшийся по неисповедимой дороге под звездами.

То не нами открыто, всегда существовало, оно не только в наших отношениях с близкими, с братьями, с друзьями (с отцом, матерью, сыном, дочерью, свекровью, невесткой), оно (а в том и истинная трагедия) и в нас самих, в сердце каждого. Это личный выбор. «Думаете ли вы, что Я пришел дать мир земле? нет, говорю вам, но разделение...» (Лк. 12, 51).

Но сегодня — и это несомненно нам — наша литература о ж и в а е т, как от обморока. Тот, Кто всегда в с ё значил в ее судьбе, Кем она и жива была, о.Ком долгую страшную ночь, когда и плоть и дух растлились — на нашей еще памяти — ни слуху не было, ни духу, Тот Голос вновь в с т р е в о ж и л ее — через Архипелаг, через войну, через все наши постыдные слабости и падения — дошел Он до нас. Вернул нас в русскую литературу.

1976, февраль

P.S. Статья была написана, лежала, год прошел — долгие у нас пути до какой бы то ни было публикации. Да и закрадывалось сомнение — нужна ли? Даст ли она что-нибудь читателю, до которого не дошла книга Солженицына, а тому, кто прочел, так ли уж важно мое к ней отношение?

Статья В. Лакшина «Друзьям «Нового мира» мои сомнения разрешила. Много ли читателей у «Теленка» — не знаю, каков тираж журнала «XX век», столь охотно представившего свои страницы бывшему замредактору «Н.М.», тоже не знаю — да ведь дело здесь не в арифметике. Появилась статья одного из героев книги Солженицына, цель которой ее перечеркнуть, про-

блем, в ней поставленных, «не заметить», а заодно представить сомнительной личность ее автора. Можно бы, разумеется, на эту статью внимания не обращать — первая ли это попытка, говоря словами Лакшина, «подсвистать вдогонку» Солженицыну, облить его грязью? Давно это началось, едва ли не с появления «Ивана Денисовича» шла за его автором клевета — и уж как изощрались! Но здесь, думается мне, случай особый, так сказать, литературный, тем, кто всерьез размышляет о нашем литературном процессе, он небезынтересен, да и сюжет «Н.М.», как представляется мне, завершился этой статьей члена редколлегии нашего знаменитого журнала уже окончательно. Как уж здесь промолчать.

Прежде всего, о странном ощущении, которое возникает, сразу, как только откроешь статью Лакшина. Откуда эта велеречивость, снисходительность, барский юмор, неторопливая самоуверенность — всегда, что ль, так и писал наш критик? По всей вероятности, всегда, это и запомнилось «стилем», хотя в свое время столь активного недоумения не вызывало: подобрал себе одежду, удобно ему в ней — носи на здоровье! Но вот, прошло время, столько за эти годы — да хоть с 70 года! — произошло, а он все такой же? Но, может быть, в этом достоинство, сила, верность себе? Почему ж не оставляет, только крепнет, по мере чтения статьи, это ощущение фальши за пустой фразеологией, литературной игры, взятого напрокат мундира? Может быть дело не только в нем — Лакшине, но и в том, что мы изменились, что мир — другой? Можно ли сегодня писать о России, о нашей жизни, так, как пять лет назад, будто не было того, что произошло?.. Ну, чтоб было понятней: уровень правды в «Иване Денисовиче», по словам Твардовского, был таким, что после этой повести писать так, будто ее не было, стало невозможно. Но ведь спустя десять лет мы прочитали «Архипелаг ГУЛаг»! Не стало ли это «художественное исследование» тем сотрясшим всю нашу жизнь катаклизмом, после которого речь может идти об изменении всего нашего мироощущения?

В этом, надо думать, и дело: мир изменился, а автор статьи «Друзьям «Н.М.»» пытается делать вид, что ничего как бы и не произошло.

Потому и такое ощущение: будто открыли сундук, запахло нафталином, лежалым, траченным молью тряпьем. Обрыдший, давно всем надоевший маскарад: но нет ли и здесь правды о д е л е, которое сегодня взялся защищать Лакшин — о журнале «Новый мир»?

Трудно определить жанр произведения Лакшина: едва ли это критическая статья — о книге «Бодался теленок с дубом» Лакшин ничего не говорит, во всяком случае никакого представления о ней у читателя этой статьи сложиться не может; у автора другая цель и задача. Статья Лакшина не о книге «Бодался теленок с дубом» и не о Твардовском — «втором отце» автора, доброе имя которого он взялся защищать от Солженицына, и не о Солженицыне, который, по словам автора статьи, оклеветал Твардовского*. Лакшин — «свидетель на процессе», он «не побрезгует заняться разбором обвинений и укоризн», предъявленных «Н.М.» и Твардовскому. Пришла пора, объявляет Лакшин, «высказаться начистоту», «воздержанию конец: надо рассчитаться и прощаться», «брошен вызов и я поднимаю перчатку»...

Лакшин утверждает, что «красная книжечка» — партийный билет — для Солженицына «уже уничтожение человека, каинова печать, по-видимому, в той же мере, как нательный крест — гарантия просветления и спасения». Сказано достаточно четко, хотя

* Да уж не останавливаться на всех передержках, проговорках и, скажем мягко, странностях — их в этой статье, говоря словами Лакшина, — «горстями грести». Одна из «странностей», поразительная для тех, кто хоть чуть знаком с нашей литературной жизнью 60-х годов, дает возможность более отчетливо представить себе статью и ее автора. Лакшин небрежно замечает, что Солженицын, конечно, великий писатель, хотя то-то и то-то, а Твардовский великий поэт и редактор замечательного журнала — это уже безо всяких сомнений. Но при этом Лакшин, якобы, обращался с Солженицыным в зависимости от его поведения, но чаще всего строго (в личном общении и переписке), ставил его на место — «смотрел на него в профиль» (!). Твардовского Лакшин неизменно любил, но как большого ребенка, сдерживал и направлял, а тот звонил ему по утрам, извинился за свою горячность, и Лакшин охотно предоставлял ему возможность иногда посидеть «в моем (Лакшина — Ф.С.) широком старомодном кресле». А уж остальные члены редколлегии «НМ», которых Лакшин «защищает» от Солженицына, и вовсе какие-то при сем «чиновники для особых поручений»: один «взъерошенный и растрепанный», другой «беспредельно преданный», третий «изобретательный», четвертый — «остроумный и скромнейший»... Удивительная защита! А над всеми ними некий всезнающий Лакшин, мудро направляющий Твардовского и оберегающий его от посягательств Солженицына. Странная получается фигура рядом с его «вторым отцом» — эдакий сын и наследник. Тем более странно, что духовные распоряжения Твардовского на сей счет до сих пор остались скрытыми от широкой публики. Как не вспомнить Ивана Александровича Хлестакова: «С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: “Ну что, брат Пушкин?” — “Да так, брат, — отвечает, бывало, — так как-то все...”»

Солженицын нигде такую мысль так не формулировал («по-видимому!»). Но нельзя и не согласиться: «красная книжечка» гарантий просветления и спасения действительно дать не может, ибо и то и другое принципиально «ею» отвергается, зато она предоставляет гарантии иные. Не будет же Лакшин спорить о том, что получив все ту же «красную книжечку», можно стать членом редколлегии даже самого прогрессивного, «единственного» журнала, а с нательным крестом этот номер у нас не проходит? Так что разница есть, и весьма, по нашей жизни, существенная.

Лакшин становится в позу дуэлянта и поднимает перчатку. Более того, он заранее, предупреждая события, утверждает безоглядную смелость своего шага: у Солженицына, мол, теперь «долгожданное обеспечение и безопасность», он рассчитывал, что Лакшин в силу своих тяжелых условий трусливо промолчит (иначе б, уж наверно, и «Теленка» не решился печатать!). Не вышло — Лакшин выходит к барьеру.

И это тоже интересно, чтоб понять Лакшина, чтоб увидеть за взятой напрокат стилистикой подлинное лицо нашего критика. Уж каким надо быть тугим на ухо, чтоб вспомнить о дуэльных пистолетах в стране, в которой за последние полвека погибли десятки миллионов людей!.. Кому брошен вызов подвигом Солженицына, кого, если по сути, взялся защищать от него бывший замредактора «Н.М.»?

После всего, ставшего нам известным о недавней истории нашего Отечества, не спрячешься за велеречивую стилистику, она тут же выдает автора — стилистика Лакшина, как мебель в квартире нувориша.

Лакшин утверждает, что Солженицын написал о Твардовском «прямую не правду», или «склизкую, пятнающую полуправду, которая хуже заведомой лжи» (выделено везде Лакшиным). И «опровергает» автора «Теленка»: он (Лакшин) знал Твардовского хорошо и близко, «прошел рядом с ним годы» — уж ему ли не знать своего главного редактора? Только странное это з н а н и е, да и защита удивительная. Вот, мол, Солженицын, как «непристойный соглядатай» осмелился ханжески написать о пристрастии нашего поэта к водке. Лакшин считает это бестактностью, «недворянским делом», хотя это, мол, и правда. Твардовский «временами пил много, пил запойно и мучительно». Но на то, де, мол, были причины: «сверхмерная чувствительность» поэта «требовала защиты от невозможных жизненных впечатле-

ний» (война, «огонь и пепел родного дома на Смоленщине», «тяжелые дни «Н. М.»...).

Действительно, жизнь поэта в наше время тягостна, у кого сил не достает, тот находит разные способы «защиты» и утешения. Но Солженицын, де, смотрит на это глазами трезвенника, а он — Лакшин «сам выпил с ним (Твардовским) не одну стопку». Ну, а коль пилось «запойно и мучительно», заслуживает ли абсолютного доверия наш «свидетель на процессе»?

Да вот, хоть такое свидетельство. Лакшин признает, что бывали у Твардовского «иллюзии, слабости, заблуждения...»; «не каждую, далеко не каждую страницу в статьях тех лет мне приятно сейчас перечитывать: есть слова и способы высказывания принужденные, вызванные тактикой, журнальными «соображениями»... и проч. «Но почему-то не стыдно, ничего не стыдно...», как говорил в таких случаях Твардовский». Неужто не придумал, не затуманилась память от принятых вместе с гл. редактором «стопок» — и Твардовский действительно мог сказать такое?! С одной стороны «сверхмерная» поэтическая чувствительность, приводящая к «мучительным запоям», а с другой — ничего не стыдно? И это русский поэт! Ну уж, не говоря о том, что приходилось пить и чем закусывать на «обедах у Дюссо», с п а с а журнал, как «подсвистывали вдогонку» Пастернаку... А «гадкоказенные слова» в «Литгазете» в августе 68 года — одним слитным хором, вместе и рядом с журналом «Октябрь» — «духовная смерть «Н.М.», по словам Солженицына? Ну, не говоря об этом — и Смоленщины не стыдно, и русской деревни не стыдно, и погубленного отца — не стыдно, и собственных ложных шагов — всей долгой, мучительной жизни подлинного поэта, которая так явственно прочитывается в его стихах, о которой Солженицын написал с такой любовью и болью? Неужто «журнальные соображения» все перекрыли? Что ж такое с л о в о для Лакшина, значит ли оно хоть что-то? Эх, Лакшин, Лакшин, а еще любит по всякому поводу цитировать русскую классику! «И с отвращением читая жизнь мою...» — сказано русским поэтом. «Вино ведь не то что вкусно, — говорил один толстовский герой. — А что я ни делаю, я всегда чувствую, что не то, что надо, и мне стыдно. Я сейчас говорю с вами, и мне стыдно. А уж быть предводителем, сидеть в банке — так стыдно, так стыдно!.. И только когда выпьешь, перестанет быть стыдно...» Вот оно как, если оставаться в традиции великой литературы. Да уж защитника ос-

тавил себе Твардовский — избави нас Бог от таких друзей, а с врагами мы как-нибудь сами разберемся!..

Одна из главных «укоризн» Солженицыну — его неблагодарность: забыл, де, о «колыбели», о журнале, который дал ему «первую космическую скорость», а без того он «не одолел бы земного притяжения, либо вовсе сторел в плотных слоях атмосферы» — «его просто не существовало бы как писателя». В связи с этим заступается (!) Лакшин за Шлимана («Троя своим существованием все-таки не обязана Шлиману», — заметил Солженицын), без которого Троя долго бы не обнаружилась, а может быть, «не была б открыта вовсе».

Сокрушительный аргумент. Коль дано знать Лакшину про то, что было бы, если б не было, то мудрено с ним об этом спорить. Но плодотворней, на мой взгляд, говорить о реальности, о ней, кстати, и идет речь в моей статье: о реальности существования русской литературы — подо льдом и невиданным гнетом — на Архипелаге. Но поскольку единственная реальность для Лакшина — цензура, а единственно реальная деятельность — обеды с цензорами у Дюссо, то и происходит вся эта путаница и подстановка, уж и не поймешь в его рассуждениях, что ж все-таки важнее в истории человечества — Троя или Шлиман? По Лакшину — Шлиман, и сомнений у нашего философа на сей счет нет. Какая там Троя, какой Солженицын, когда всё решается в «кабинетах», зависит от «хитроумной изобретательности», «ловкого хода», «мужественного решения», «телефонного звонка»! Психология советского вельможи (издатель он или чиновник) настолько вывернута в сторону полнейшей ирреальности, что он уже совершенно искренне убежден в том, что, коль он, скажем, издаст книгу или подпишет в производство некую машину — то он и является ее подлинным создателем! а без него все «дремало бы под землей и водами», как самоуверенно замечает Лакшин о Трое и Шлимане.

Так и складываются у нас отношения издателя с автором, который по наивности, прямой глупости или безмерному тщеславию полагает, что его книга — плод его таланта и трудолюбия, а на самом деле он тут и вовсе ни при чем — где бы она была, когда б не мужественная филантропия издателя?! Да уж редко забывает у нас автор о том, кому и чем «обязан», чего греха таить, в случае примитивном «благодарность» может быть и выражена вполне примитивно, а в случае интеллигентном, к тому ж прогрессивном — как же не напомнить лишний раз о благодар-

ности тем, кому помогли «выпрыгнуть из глубины немоты и безвестности»!

Как обманулся бедняга Шлиман: оказалось, что «безнравственная», забывшая о «благодарности» Троя и сама по себе представляет некий интерес для человечества, а он-то уже полагал, что встал вровень с гомеровскими героями... Да куда там вровень, где они были бы без него — гнили бы под курганами и водами без его, Шлимана, первой космической скорости!

Следует ли Лакшину обращаться к памяти «старика Канта», когда он пытается учить Солженицына нравственности? «Наше дело замешано на других дрожжах», — гордо замечает Лакшин. Нет сомнения — на других.

Вот, кстати, можно почувствовать, каковы те «дрожжи» в защите Лакшиным «атмосферы» в редакции «Н.М.», о котором Солженицын написал, якобы, «пристрастно», «искаженно», «перевернуто», «лживо». А между тем, делался журнал, пишет Лакшин, «как в старые «некрасовские» времена. Пришел редактор, бросил на стол изношенный желтый портфель, туго набитый прочитанными рукописями и версткой — и сразу вокруг него возникли куча-мала членов редколлегии и сотрудников».

Очень трогательное воспоминание. А если вспомнить еще вельможный юмор, который столь же горячо защищает Лакшин от Солженицына, оказавшегося неспособным его понять, то совсем получается пастораль. «В ходу у А.Т. были бесчисленные народные присловия, шутки, смешные литературные цитаты, которые в нашем кругу понимались с полуслова», — вспоминает Лакшин. И приводит несколько таких «шуток». «Где Сурков?» — спрашивает Лакшин Твардовского, встретив его на аэродроме, вернувшимся из Италии. — «Он выбрал свободу», — с иронической серьезностью сказал А.Т. И мы от души посмеялись этой шутке...»

Вот так они в своем кругу барски шутили. Где уж было автору «Архипелага» понять и оценить такое остроумие!

Так вот, об атмосфере «Н.М.». Я к сотрудникам журнала не принадлежал, всего лишь к облагодетельствованным раз и навсегда авторам, а потому в той «куче-мале» не участвовал. Может быть, и верно, было — прямо как в «некрасовские» времена. Хотя, честно сказать, именно в силу этой «облагодетельствованности» не очень-то уютно чувствовал себя автор в нашем прогрессивном журнале, хотя все было там в высшей степени демократично. Ну, примерно так, как и должны были бы чувствовать себя Троянские герои,

коль пришлось бы им «запросото» захаживать с визитом к Шлиману. (А если не с визитом, а по собственной корысти — рукопись тиснуть? зная наперед, что кабы не тот Шлиман, так бы и лежали в своем кургане до Судного Дня!). Не зря ж один остроумный автор — знаменитый и многократно прославленный «Н.М.», назвал его «ледяным домом»...

Но это к слову. А вот о демократичности — о «куче-мале», в которой равноправно участвовали руководство и рядовые сотрудники нашего прогрессивного журнала. На своем уровне, рьяно и запальчиво защищая Твардовского, себя и других членов редколлегии от посягательств Солженицына, рассказывая о «Н.М.», Лакшин не упоминает ни одного сотрудника журнала — ни единой фамилии. Получается, что журнал, несмотря на всю его демократичность, делало руководство. Единственно, кого Лакшин вспомнил, это Анну Самойловну Берзер, которой, на ее беду, не повезло — Солженицын отозвался о работе с ней — опытным редактором, чистым, мужественным и скромным человеком, с теплотой и благодарностью. И уж тут Лакшин распоясался, позабыл даже о своей велеречивости и интеллигентности. «Берзер... сильно преувеличила свою роль», «Твардовский любил ее мало — и, как теперь выяснилось, не зря», «амбиции ее были велики, притязания обширны — куда более той скромной роли, какую она в редакции выполняла», «ей не приходилось принимать ответственных решений, отстаивать журнал в «инстанциях» и цензуре» и проч. (Ну да, ведь профессиональная работа редактора, как и профессиональная работа автора, ничего не стоят по сравнению с хитроумной изобретательностью издателя — все на тех же обедах у Дюссо решается, по мнению Лакшина, судьба русской литературы!). Берзер до того дошла, что «хотела понравиться авторам», рассказывала им о том, что происходило в журнале... (Как-то и не понять — кем же считал себя Лакшин: замредактора литературного журнала или замначальника какого-то военного полигона — и это в «некрасовском» журнале!).

Вот так «куча-мала»! Кто ж в ней все-таки участвовал? Уж теперь очевидно, что не рядовые сотрудники — кого-то не любил главный редактор, а кого-то, видимо, его заместители, роли в журнале, по свидетельству Лакшина, распределены были достаточно четко, жестко, и тот, кто осмеливался проявить самостоятельность («амбицию», как интеллигентно определяет Лакшин), забывал о своей скромной должности, ставился сразу же на место — всяк сверчок знай свой шесток! Очень демократично.

Ну, а если по сути — что же, все-таки, вызвало запоздалый, барский окрик замглавного редактора нашего «некрасовского» журнала? Оказывается, дело в том, что Солженицын поверил Берзер — рядовому сотруднику «Н.М.»: будто бы, «если б не ее хитроумнейший женский план», издевается Лакшин, не напечатали бы повесть Солженицына («Слопали б живьем моего Денисовича три охранителя главного...» — пишет Солженицын в «Теленке»). Да уж как не поверить: если б действительно не передала А. С. Берзер «Щ-854» прямо в руки Твардовского, — увидел бы читатель «Н.М.» эту самую повесть? У тех, кто не поверил Солженицыну, после статьи Лакшина никаких сомнений на этот счет не останется.

Много проговаривается наш «свидетель на процессе» — стилистика подводит, «показания» Берзер и Солженицына будут повесомей.

Да вот хоть такое небезынтересное место из статьи, проливающее на это свет. «Автор «Теленка», — пишет Лакшин, — укоряет нас, русских, в чрезмерной осмотрительности, неповоротливости и лени. Это верно. Сам он вечно спешит, и ныне спешит без нужды...»; «торопится печатать в журналах», «поспешно публикует» и проч. «Это мало похоже на обычаи писателей былого века, — вальяжно продолжает Лакшин, — державших свои дневники, записки, письма, варианты сочинений вдали от глаз публики, а иной раз и за порогом земной жизни накладывавшими из понятной скромности или деликатности перед живущими, запрет на их публикацию на 30, 50 или 100 лет. Еще недавно так поступил со своей перепиской Томас Манн, Хемингуэй, наложив посмертное вето на большую часть своего архива». Вот, оказывается, какой «неторопливости» ждал Лакшин от Солженицына, какие «обычаи писателей былого века» кажутся ему привлекательными — куда уж было б лучше спрятать книги Солженицына «вдали от глаз публики», а совсем бы хорошо еще подальше — «за порог земной жизни», лет эдак на 50 или 100! И после этого нам предлагают поверить, что, не будь «хитроумнейшего женского плана», не восторжествовала бы эта «былая осмотрительность»? Да уж, несомненно, продержали бы, зная Твардовского, оберегли от его опрометчивости, эрудиты — и Томаса Манна бы с Хемингуэем вспомнили, и на Шлимана бы сослались — три тысячи лет, мол, не помеха!

Не тут ли главное **показание** добровольного «свидетеля на процессе»?

«Твардовский говорил со своей усмешечкой, — вспоминает Лакшин: — «И что это он все хитрит, А.И., зачем ему эта конспирация, почему я не могу знать адреса — куда послать телеграмму?..» Не понимал Твардовский, а вот Лакшин делает вид, что и по сей день того понять не может. Даже злорадно усмехнуться над этой конспирацией позволяет себе: «Он (Солженицын — Ф.С.) думал, что его «укрывает» тайна, пока ему на голову не брызнул однажды в полдень Виктор Луи со своей фотоаппаратурой. И оказалось, что его местожительство, столь тщательно от нас оберегаемое, давно обсуждают все воробьи, чирикающие на липах у Лубянки».

Вот, оказывается, каким мог быть юмор в нашем знаменитом «некрасовском» журнале! Зачем торопиться, зачем конспирировать, о н и т о давно, — ухмыляется Лакшин, — давно все знают... Прав Лакшин — следует ли забывать о существовании так пристально опекающей нашу литературу организации? но ведь и помнить о ней можно по-разному. («Так не безмятежное небо над нами — огромное зреймо КГБ — и м и г н у л о, как Голова из «Руслана»: знай наших! поминай своих...» — пишет Солженицын в «Теленке»). Где были бы романы Солженицына, «Архипелаг ГУЛаг», когда б не его одержимость работой и конспирация? И теперь з а п о з д а л о, раздраженно пенять за это писателю, которого жизнь научила позабыть про «былую», милую сердцу редакторов «Н.М.» неторопливость?!

Надо всей многоэтажной системой этой невиданной конспирации, о которой рассказал нам Солженицын в «Теленке» (не обо всей, надеюсь), «раскидывании чернухи» позволяет себе позубоскалить Лакшин, надо всем невероятным для одного человека подвигом — стратегией и тактикой борьбы с молохом государства, способного, не заметив, раздавить и уничтожить человека. И это он — Лакшин — теоретик и практик идеологии принципиального компромисса, эдакого вранья «пур ле жанс», как говорил Щедрин?

Подводят Лакшина привычные профессорские рассуждения о традиции русской литературы — не на тех «дрожжах» она поднималась.

Лакшин утверждает, что Солженицын разрывает с «коренной, нравственной традицией литературы прошлого»; он цитирует письмо Солженицына Твардовскому, в котором автор «Архипелага» говорил, что русской литературе принадлежит и обязан «не больше, чем русской каторге». Потрясающие слова — и в какой они еще традиции сказаны, как не в нравственной традиции великой рус-

ской литературы? Или, верно, о «Записках из Мертвого дома» позабудем? «Мои навыки — каторжанские, лагерные», — пишет Солженицын. А Лакшин хватается за эти слова, чтобы написать, что «поведение Солженицына — поведение не телка, а лагерного волка», что «лагерный микроб» «бушует» в нем и грозит ему «страшным волчьим одиночеством».

Ну уж, оставим заботы об одиночестве Солженицына, как и размышления Лакшина о том, как «по-разному» ведут себя и проявляются люди в лагере — эти его «показания» явно не представляют интереса на нашем «процессе». А вот что означает эта подстановка — «лагерный волк», вместо каторжанина, зэка, что значит «лагерный микроб» — хотелось бы понять.

Он — Лакшин, по его свидетельству, «коротко знает», переписывается и «близко дружит» со многими бывшими лагерниками, «возвратившимися в эту жизнь» (выделено Лакшиным), сумевшими в нее вписаться и в ней расположиться. Что ж такое эта жизнь для нашего дуэлянта? Неторопливая жизнь на писательских дачах безо всякой «конспирации», участие в «кучемале» — или жизнь Сергея Ковалева, Семена Глузмана и о. Дмитрия Дудко? Не принципиально ли различны здесь представления о вещах элементарных, о реальности нашей жизни, а оттого не противоположные ли перед нами системы нравственных координат? Но коли так, следует ли удивляться логике Лакшина, всем его подстановкам и смрадному духу его последнего сочинения — какие же все-таки «воробьи» и а ч и р и к а л и ему мысль о том, что «незаметно в свой мозг и душу впитал яды» лагеря и возвратившийся в эту жизнь вчерашний каторжанин? что он все равно волк — пусть и гуманно реабилитирован! Откуда же иначе его — этого вчерашнего зэка — нетерпимость ко всей принципиальной или хитроумной, но так комфортно вписывающейся в эту жизнь лжи и компромиссам, эта его неуживчивость — все торопится и конспирирует? Отравлен, все равно чужой — сегодня мешает комфорту внутреннему, а завтра не разметал бы и комфорта внешнего!

Несомненно прав Лакшин: разные дрожжи, разное мироощущение, противоположные позиции и точки отсчета. «В плохое я всегда верю легче, с готовностью», — цитирует Лакшин «признание» Солженицына. И осмеливается укорить за это лагерника, человека, написавшего «Архипелаг ГУЛаг», рассказавшего человечеству о десятках миллионах невинно погубленных людей! Укорить в конспирации и торопливости человека, чьим пером води-

ли сотни тысяч, миллионы навсегда оставшихся в каменном грунте Архипелага...

Вот где открывается феномен «новомировского» сознания, в своем роде уникальный спектр мироощущения образованца: «НМ» — это его звездный час, обетованная земля, куда он убегает, спасая внутренний комфорт, вспоминая героизм своего громкого обличительства, смелость в «залатывании» и «исправлении», а уж во имя этого «дела» свою принципиальную готовность на любой компромисс. А жизнь, между тем, не стоит на месте, за годы, прожитые нами после «НМ», мир изменился, и мы уже не те. Неподвижность сознания, продемонстрированная в статье Лакшина, свидетельство не только закономерности смерти «НМ», но и показатель «второй смерти» «новомировского» сознания сегодня. Не случайно, надо думать, эта статья нашла себе место на страницах журнала «XX век». Стремление его редакторов продолжить «дело» «НМ» в бесцензурной печати — выглядит жалким фарсом, ну, скажем, как попытка реанимации какого-нибудь птеродактиля: социальное обличение без понимания нравственных причин приводит к полуправде, которая на самом деле и есть заведомая ложь.

Только в одном месте своей статьи решился Лакшин упомянуть «Архипелаг ГУЛаг» (назвав книгу «Гулагом», так что сразу и не понять — о чем речь?), да и то, для того лишь, чтобы сказав сквозь зубы, что, де, «будет жить долго», тут же и пресечь за «все заблуждения и пристрастия», «прокурорскую речь», «преувеличенную ненависть»... «Архипелаг ГУЛаг» — весь этот гигантский материал, завязанный судьбой одного человека, в нем и вместе с ним воскресшего, ставшего внятными, как встреча с человеком, судьбу которого возможно вместить! Да, все или почти все мы знаем: факты, события, трагедии, позор, преступления, кощунство... Знаем, со всем или почти со всем сталкивались, что-то пережили, но чтоб в с е, через одного, чтобы увидеть, прикоснуться, понять — вдруг все вместе, одним сердцем! Никогда и никто — я убежден в этом — не сделал и не способен сделать такое.

Я не знаю, не готов еще высказать, что там лучше и сильнее в этих тысячах страниц — пусть говорит история, она (книга) вся целиком, как единое, пережитое вдруг сотрясение жизни. Да и замысел был такой, я уверен: вдруг, однажды автор сотрясся сам, все это сердцем услыша, а потом оставалось т о л ь к о

записать. И то, несомненно, без Бога не сделать, потому что человеческих сил тут достать не могло.

Чтоб закончить разговор о статье Лакшина. Автор статьи «Друзьям «Н.М.» укоряет Солженицына в «случайности, отрывочности» его мышления — «последствие доморощенной культуры», отсутствие систематичности в занятиях философией, историей, социологией («он основательно не читал ни Герцена, ни Чернышевского», «не очень внимательно читал он, по-видимому, и Толстого с Достоевским»). «Систематично» образованный Лакшин б е с т р а ш н о формулирует свое собственное кредо: «мы верили в социализм как благородную идею справедливости, в социализм с человеческим нутром, а не лицом только. Для нас неоспоримы были демократические права личности. Мы искали опору своему чувству и убеждению в народе — и, боясь истасканности и фальшивой декламационности этого понятия, всегда дорожили чувством общего с трудовыми людьми».

Что касается «нутра» — его Лакшин продемонстрировал в статье достаточно определенно, особенно в своих рассуждениях о демократизме и «лагерном микробе», особенно четко о чувствах по отношению к народу, прошедшему через Архипелаг. Несколько слов о его образованности. Чернышевского он, надо думать, читал, в марксистской идеологии подкован («ныне, как и во все времена, — размышляет Лакшин, — идеология во многом производное от реальной жизни людей». Чья идеология «производное», от чьей «реальной жизни» — Лакшина, может быть, народа на Архипелаге? «Маркс, наряду с Лениным, принадлежит у нас давно к числу самых мало читаемых писателей», — смело пишет Лакшин, полагая именно в отсутствии интереса к этим писателям причину затруднений «идеологии»). Марксистски образован Лакшин, не зря ж «беды и неудачи» нашей страны видит он в том, что «идея социализма, пришедшая к нам с развитого Запада, хоть и поддержанная инстинктивно навыками нашей крестьянской общины, пала на такую, в общем, глухую, придавленную вековыми традициями рабства, порченную петербургской бюрократией почву, что и сама...» На этом рассуждение обрывается. «Впрочем, это уже другая тема», — замечает Лакшин.

Ничего не скажешь, смело, хоть и оборвал — и петербургской бюрократии не напугался, и «вековую традицию рабства» заклеил! Но как же все-таки с образованием — с укоренением в русской культуре, если уж мы всерьез разговариваем?

Плохо обстоит с этим делом у нашего критика и эрудита, прямо сказать, недалеко шагнул он от уровня героев-безбожников 20-ых — 30-ых годов, с такими познаниями, как у него, и в сегодняшней журнал «Наука и религия» не пустят. Зато апломб, категоричность у нашего критика и эрудита!

«В христианство его (Солженицына — Ф.С.) я не верю», — пишет Лакшин; «говоря откровенно... не чувствую, не ощущаю искренность его (Солженицына — Ф.С.) веры»; «крестное знамение» Солженицына у гроба Твардовского для него — Лакшина — «театральное... прощание»... Мудрено спорить с автором, настолько убежденным в истинности собственных чувств и ощущений, столь категорично з н а ю щ и м за другого меру его искренности и искренность его отношений с Богом. К тому же и здесь своеобразная традиция издевательства над откровенностью, покаянием художника — от Белинского до Абрама Терца, до сих пор потешается записная критика над в н у т р е н н е й к л е т ь ю христианина. Уж если «Выбранные места» и «Авторская исповедь» — материал для насмешки и издевательства, как же за «Теленка» не ухватиться!

Но вот еще одно, на сей раз не эмоционально-категоричное, а т е о р е т и ч е с к о е «развенчание» Солженицына. «Бог Солженицына, — пишет Лакшин, — слишком мало напоминает христианского Бога с Его заветами добра и самоотвержения. Скорее это то абстрактно почитаемое высшее существо, перед авторитетом которого склоняется в своих мирских целях Великий Инквизитор у Достоевского. Кстати и понятия те же — помимо авторитета — ч у д о и т а й н а». Что это, как не невежественное жонглирование евангельскими словами и понятиями, переворачивающее всякий смысл легенды Достоевского (Великий Инквизитор «склоняется в своих мирских целях» перед авторитетом «абстрактно понимаемого высшего существа», чудо и тайна — «понятия» Великого Инквизитора — что за сон такой?)? Да, уж после этого не кажется опиской следующее утверждение Лакшина: Солженицын «ощутил себя б о г о ч е л о в е к о м, наподобие инженера Кириллова из «Бесов» (!). Действительно неловко полемизировать с автором, для которого нет разницы между Богочеловеком и человекобогом.

Вот вам и систематическое образование!

Лакшин смело пишет о трудном времени, переживаемом сегодня нашей интеллигенцией: «Под барабанный бой рутинной фразеологии, уже никого не пытающейся убедить по совести и на-

саждающей себя дисциплинарной верой, среди значительной части интеллигенции поселилась вялость, апатия, равнодушие. В такие времена мародеры обирают убитых».

Один из героев книги «Бодался теленок с дубом» в могиле, второго протащили через Лефортово и бессрочно выслали. Верно, в такие времена и выходят на поле сражения мародеры.

«Зная наши условия, Солженицын возможно надеялся, — написал Лакшин, — что мне и другим людям, не принадлежащим к числу казенных публицистов, придется промолчать и сглотнуть его мемуаристику молча. Напрасно». Не берусь говорить за Солженицына, но я, честно сказать, надеялся — промолчит. Даже если смертельно обиделся за «дело», за себя, даже если не поймет, какой навеки оставлен в русской литературе памятник Александру Твардовскому — все равно промолчит. Потому что любой ответ будет здесь только развенчанием дела «НМ», любой ответ может быть только казенным... Зря надеялся. Обманулся.

Февраль 1977 года.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
От редакции: Какими средствами бороться за Церковь? — Н. Струве	3
От читателей: В редакцию журнала "Вестник РХД" — А. В.	6
БОГОСЛОВИЕ	
Из неизданных писем — епископ Игнатий Брянчанинов	9
Что такое Вселенский Собор — прот. Иоанн Мейендорф	22
Второе послание апостола Петра — прот. Георгий Клиингер (†) ..	41
Раннехристианская эстетика (III) — Евгений Барабанов	62
■ Христианство и иудаизм	
Еврейский мессианизм — игумен Геннадий	77
Из интервью журналу "Евреи в СССР" — Евгений Барабанов	111
Из интервью журналу "Евреи в СССР" — Геннадий Шиманов	119
ФИЛОСОФИЯ	
■ К столетию со дня рождения С. Л. Франка (1877-1950)	
К юбилею Семена Франка — Н. Струве	128
Очерк философии С. Л. Франка — Н. О. Лосский	132
О невозможности философии — С. Л. Франк	162
Из письма В. Федоровскому — С. Л. Франк	171
Духовное наследие Владимира Соловьева — С. Л. Франк	173
■ В мире книг	
Новая книга о Константине Леонтьеве — Москвитянин	182
О книге И. Шафаревича "Социализм как явление мировой истории" — А. Солженицын	192
ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ	
Разделение (После "Очерков литературной жизни" А. Солженицына "Бодался теленок с дубом") — Ф. Светов	195

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
■ К столетию со дня рождения Алексея Ремизова (1877-1957)	
А. Ремизов в Париже (1923-1957) — Наталья Резникова	238
Полевые цветы (из неизданной книги) — Алексей Ремизов	268
Последние годы жизни Ремизова в письмах к Д. Соложову	275
Обыкновенная жизнь (стихи) — Анна Баркова	287
■ В мире книг и журналов	
Обзор материалов самиздатского журнала "37" — Н. Гиряев	294
Из журнала "37"	
Письмо Н. Гумилева В. Брюсову	301
Стихи — С. Стратановский, В. Алейников	303
Путешествие к "счастью, о котором пишут в газетах" (о книге В. Ерофеева) — Михаил Геллер	307
СУДЬБЫ РОССИИ	
Светлой памяти Сергея Иосифовича Фуделя — А. Бурдеев	313
Воспоминания — С. И. Фудель	315
Неизданное письмо К. Леонтьева к о. И. Фуделю	338
■ Русская Церковь сегодня	
Богословие или опасное суесловие? — И. В.	347
■ 60 лет сопротивления насилию	
О Тамбовском восстании 1921 г. — К. Криптон	357
"Опричина-1977" — Т. Ходорович, В. Некипелов	367
После ареста Гинзбурга — Т. Ходорович, М. Ланда., А. Солженицын	381
Заявление Эдуарда Беннетта	383
ХРОНИКА РСХД	391

SOMMAIRE

Pages

A nos lecteurs : Des moyens de lutter pour l'Eglise (N. Struve) 3
 De nos lecteurs : Lettre à la rédaction (A.V. — URSS) 6

THEOLOGIE

Lettres inédites — Mgr Ignace Briantchaninov (1818-1868) 9
 Qu'est-ce qu'un Concile Œcuménique ? — Jean Meyendorff (USA) 22
 La Seconde Epître de Saint Pierre — G. Klinger (Varsovie) 41
 L'esthétique paléochrétienne (III) — E. Barabanov (URSS) 62

■ Christianisme et judaïsme

Le messianisme juif — Guennady Eykalovitch (France) 77
 Extraits d'interviews à la revue Samizdat « Les juifs en URSS »
 — Eugène Barabanov (URSS) 111
 — Guennady Chimanol (URSS) 119

PHILOSOPHIE

■ Pour le centenaire de la naissance de Simon Frank (1877-1950)

Introduction — N. Struve 128
 La philosophie de Simon Frank — N. Losski 132
 De l'impossibilité de la philosophie (lettre inédite) — S. Frank .. 162
 Extraits d'une lettre inédite à V. Fédorovski — S. Frank 171
 L'héritage spirituel de Vladimir Soloviev — S. Frank 173

■ Bibliographie

Un nouvel ouvrage sur C. Léontiev — X (Moscou) 182
 I. Chafarévitch : Le phénomène du socialisme — A. Soljénitsyne (USA) 192

LITTERATURE ET VIE

La ligne de démarcation (à propos du « Chêne et du veau » d'A. Soljénitsyne) — F. Svétov (URSS) 195

SOMMAIRE

Pages

■ Pour le centenaire de la naissance d'Alexis Rémizov (1877-1957)

Les années parisiennes d'A. Rémizov (1927-1957) — N. Reznikova (Paris) 238
 Fleurs des champs (extraits d'un livre inédit) — A. Rémizov .. 268
 Les dernières années de la vie d'A. Rémizov : Lettres à D. Solojov (1952-1957) 275
 Une vie ordinaire — Poèmes inédits d'Anna Barkova (URSS) .. 287
 La revue samizdat « 37 » — N. Guiriaev (URSS) 294
 Lettre inédite de N. Goumilev à V. Brioussov 301
 Poèmes extraits de la revue « 37 » — (URSS) 303
 V. Eroféev : « Moscou-Pétouchki » — Michel Heller (Paris) 307

LES DESTINEES DE LA RUSSIE

In memoriam Serge Foudel (1901-1977) — A. Bourdeev (URSS) .. 313
 Souvenirs — Serge Foudel (URSS) 315
 Lettre inédite de C. Léontiev au Père Joseph Foudel 338

■ L'Eglise russe aujourd'hui

Théologie ou dangereux verbiage ? — I.V. (URSS) 347

■ 60 ans de résistance à la violence

Le soulèvement de Tambov (1921) — C. Kripton (USA) 357
 L'« Opritchnina 1977 » — T. Khodorovitch, V. Nekipélov (URSS) 367
 Témoignages pour la défense d'A. Guinzbourg 381

CHRONIQUE DE L'A.C.E.R. 391